

INSPIRIA

18+

Воспоминания Свена Стокгольмца

Натаниэль Миллер



INSPIRIA

Loft. Для грустных

Натаниэль Миллер

Воспоминания Свена Стокгольмца

«ЭКСМО»

2021

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Сое)-44

Миллер Н.

Воспоминания Свена Стокгольмца / Н. Миллер — «Эксмо»,
2021 — (Loft. Для грустных)

ISBN 978-5-04-192021-0

«Воспоминания Свена Стокгольмца» — гимн эскапизму на фоне революций и войн XX века. Суровый и честный взгляд человека, переживающего глобальные перемены. Свен — разочарованный городской жизнью чудака-интроверт, который решает бросить вызов самому себе и переезжает в один из самых суровых ландшафтов на земле — за Полярный круг. Он находит самую опасную работу, которую только может, и становится охотником. Встречает там таких же отчаявшихся товарищей по духу и верного компаньона — пса. Но даже там отголоски «большого мира» настигают его, загоняя все ближе к краю света. «Свен обнаруживает, что дружба и семья возможны даже в самых сложных обстоятельствах. Великолепная книга Миллера напоминает нам, что величайшее умение, которым обладает человечество, — это наша способность любить». — Луиза Смит, Book Passage

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-04-192021-0

© Миллер Н., 2021

© Эксмо, 2021

Содержание

Пролог	6
Часть I	7
Часть II	28
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Натаниэль Миллер

Воспоминания Свена Стокгольмца

Nathaniel Ian Miller

THE MEMOIRS OF STOCKHOLM SVEN

Copyright © 2021 by Nathaniel Ian Miller

This edition published by arrangement with Little, Brown and Company, New York, New York, USA. All rights reserved

© Ахмерова А., перевод на русский язык, 2023

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет за собой уголовную, административную и гражданскую ответственность.

* * *

Посвящается Эйлис

Пролог

Из маленького домика на берегу океана

Меня зовут Свен. Одним я известен как Свен-Стокгольмец, другим как Одноглазый Свен или как Свен-Тюленеёб. На Шпицберген я попал в 1916 году. Тридцатидвухлетний, личностью я был малозначительной.

Я примерно знаю, что говорят обо мне те немногие, кому вообще есть что сказать: что я жил один и охотился в большой бухте и охотничьих районах Рауд-фьорда в самой глуши Крайнего Севера; я жалкая жертва аварии на шахте, я вздорный эксцентрик и затворник. И эти факты – правда, хоть и не вся. А вот утверждения о том, что я здорово и с удовольствием готовил, давайте из протокола вычеркнем: это вопиющая ложь.

Большую часть жизни я провел на Шпицбергене, островном архипелаге на севере от Норвегии, пограничные области которого в считанных градусах от невидимого полюса. В наши дни политики, генералы и картографы называют архипелаг Свальбардом. Подавляющее большинство не называет его никак. Эпоха географических исследований давно миновала, и если Шпицберген теперь и присутствует в мыслях обывателей, то как слабое эхо или как полузабытое слово.

Вполне возможно, что людям интересно – или я только воображаю, что им интересно? – чем я занимался столько десятилетий в одиночестве. Они, верно, думают, что жизнь состоит из вех, из огромных скал, проступающих в беспокойном безбрежном море, которое и омывает их, и истачивает. По-моему, это чушь. Мало людей пишет мемуары, а читает их еще меньше, поэтому в большинстве случаев приходится полагаться на пару-тройку ориентиров, зачастую сомнительных, когда разглядываешь чье-то существование через мутное стекло. Любая жизнь намного любопытнее и прозаичнее рассказов о ней. В узких, как игольное ушко, кругах знакомых я считаюсь нелюдимым отшельником, охотившимся в Арктике. А ведь на деле это ошибка – один я не был почти никогда.

Вот моя история.

Часть I

1

Родился я, разумеется, в Стокгольме, под именем Свен Ормсон. Отец мой работал в дубильне, его профессию я почти не уважал до тех пор, пока сам не начал выделывать кожу. Мать занималась мной и двумя моими сестрами. В этом этапе моей жизни ничего примечательного нет. Толпы людей, неутраченный шум, вонь – вряд ли в городе задышался только я. Жили мы небогато, поэтому с самого раннего детства мы с сестрами работали на мельнице. Скажем так, меня это положение вещей никогда не устраивало. Угробить жизнь на черную работу в вонючей дыре – с такой долей я смириться не мог. Думаю, мама мне сочувствовала, но вслух об этом ни разу не говорила.

При этом я не относился к числу молодых людей, считавших, что они предназначены для чего-то великого. Предназначение и судьба меня в ту пору не интересовали. Я знал, что родился не для того, чтобы ублажать кого-то, не говоря уже о Боге. Я просто не находил себе места. Национальная гордость, военная служба, похабные песни, хохот взрослых, духота и теснота – все это казалось мне отвратительным. Да, пожалуй, и сейчас кажется. Но все это – заветные скрепы шведского общества. В довольно банальных муках отчуждения и недовольства, я, как и многие молодые люди до меня, обратился вместо этого к книгам.

Моей отдушиной стала тема полярных исследований и бесконечных трудностей, которые могут постигнуть бросивших вызов безжалостной белой смерти. На рубеже столетий вся Швеция еще говорила о Фритьофе Нансене и Саломоне Андре: первый – с его новаторскими исследованиями морей и океанов и впечатляющей историей выживания; второй – с его невероятными проектами и трагическим исчезновением в арктической пустоши. Потом две триумфальных экспедиции совершил Руаль Амундсен. Я в ту пору разменял третий десяток и помню, как живой интерес у меня перерос в легкую одержимость. Помню, как мечтал отправиться в неизведанные земли. Бредовых желаний вроде «совершить подвиг для Швеции» у меня не было. Напротив, я считал себя узником, а Швецию – своей тюрьмой.

О путешествиях я читал все, что мог найти: и ужасно скучные путевые заметки (работы Нансена, конечно, не в счет, он как раз писать умел), и яркие, преимущественно вымышленные истории, вроде «Жизни Нельсона» Роберта Саути. Читал я всегда много и жадно, погружался в книги, пока это позволял отец, ну а теперь я поглощал их с исключительно старательной сосредоточенностью, как наркоман, вернувшийся к своей привычке после долгого воздержания.

В редкие дни я околачивался возле Полярного института, наблюдал за двусторонним потоком мужчин в элегантных деловых костюмах и силился представить их голодающими, одетыми в звериные шкуры. Некоторые из них несли кожаные портфели, как мне казалось, полные загадочных карт. Были ли это те самые исследователи? Вряд ли. Но к настоящей жизни они были куда ближе, чем я, – буквально на ее пороге. Я топтался у входа, старательно изображал безразличие, а сам заглядывал «исследователям» в глаза: не горит ли в них дикое возбуждение, которое, как мне думалось, люди видят у меня? Но ничего примечательного я не находил. Большинство казались раздраженными или поглощенными своими мыслями. Наверное, так выглядят дикие звери в клетке.

Я спросил об этом свою младшую сестру, Ольгу. С ней мы были очень близки. А вот Фрея, моя старшая сестра, была сволочью и ненавидела меня. По-моему, ее до сих пор возмущает, что я посягнул на незыблемость ее мира. А вот Ольга, наоборот, всегда пользовалась моим доверием. Хрупкая, застенчивая, она, тем не менее, сметала все барьеры между собой

и правдой. Это ее качество меня всегда восхищало. Лицемерить Ольга не могла физически. Моя мать беспокоилась, что в итоге это помешает выдать ее замуж.

– Ольга, посмотри мне в глаза! – попросил я, когда мне было лет девятнадцать, а сестре – семнадцать.

– Хорошо, – согласилась она.

– Что ты видишь?

Ольга обдумала вопрос.

– Ничего не вижу.

– А жалкого отчаяния существа, лишённого свободы, не видишь?

– Нет, – ответила она.

– Посмотри снова. В них же явно бушует буря!

– Свен, нет там никакой бури. Ты тарачишь глаза и вскидываешь брови, как маньяк. Перестань, пожалуйста.

2

Еще несколько лет отупляющей работы на мельницах окончательно подавили во мне дух загнанного в клетку зверя.

Бездумный механический труд всегда вызывал у меня сонливую вялость. Веки смыкаются, движения замедляются до полного оцепенения. Мысли текут сонно и бесцельно. Хорошим мельником так не станешь. В сфере деятельности, где гордятся сноровкой и расторопностью, я был, скорее, помехой, чем полезным винтиком. То и дело в чувство меня приводил бригадир – вставал за моей сторбленной спиной и орал, что я жалкий лентяй. То и дело меня увольняли. И лишь потому что мой отец был десятником, имел много друзей и пользовался уважением, меня брали на другие мельницы. Пристроит меня старый ублюдок и помыкает мной: вот, мол, совершил еще один благородный поступок, да и вообще на свет меня произвел, за что я перед ним в вечном долгу.

Уверен, мои соратники, как и мой отец, не сомневались, что я странноват или отстаю в развитии. В отличие от большинства мужчин моего возраста и общественного положения, я не просиживал вечера в барах, не опускался до пьянства и распевания шведских народных песен. Я откладывал получку и каждый раз отдавал немного матери. Я не женился и не производил на свет детей, с которыми встречался бы редко. После смены я возвращался в свою убогую квартиру и читал книги о звероловах и оленеводах-саами. Я пил, порой неумеренно, в одиночку.

Когда Ольга наконец вышла замуж за скучного, но вполне приличного торговца рыбой, а Фрею в восемнадцать выдали за мельника, такого же невыносимого, как она сама – наша мать, видимо, перестала верить в мое светлое будущее и смирилась с тем, что я безобидная аномалия – мальчик славный, но странноватый.

Разумеется, у меня случались увлечения, но его объектами неизменно становились особы, совершенно не подходящие парню моего положения, – дочь богатого адвоката, ни разу на меня не взглянувшая; замужняя пекариха, которая пекла восхитительные булочки, а когда я расплачивался, непременно касалась моих пальцев; и, как ни банально, проститутка, заразившая меня венерической болезнью. Пожалуй, нелепо утверждать, что каждая из них нанесла мне серьезную сердечную рану, при том, что инфекция едва не стоила мне жизни, но я убежден, что неразделенная, точнее, неразделяемая любовь неумолимей и смертоносней топора викинга.

Тревоги у меня были приземленными, но ведь приземленной была и моя жизнь. Острое желание ослепить себя белым светом где-нибудь в полярных регионах погасло, а вместе с ним и моя надежда. По сути, я превратился в фаталиста или, по крайней мере, в циника. Я обозлился и порой проявлял жестокость.

В двадцать два года Ольга родила первого ребенка, мальчика. Милая Ольга! Как откровенно она добивалась моего одобрения, как по-детски я страдал от нашего разрыва и скрывал это. Взрослея, мы порой отдаляемся от самых близких друзей и родни. Мне не нравился ее муж, невежа Арвид. Он неизменно радовался моим визитам, неизменно проявлял себя радушным, хлебосольным хозяином своего скромного дома и неизменно нарывался на мою холодность. Нередко использовал я возвышенный язык, которому научился из произведений Нансена и других великих людей, дабы еще больше отдалиться от Арвида. Радости я при этом не чувствовал, но упорно гнул свое.

– Свен! – мог воскликнуть сияющий Арвид. – Как я рад тебя видеть! Надеюсь, на мельнице дела идут хорошо или, лучше сказать, «сносно»? Пожалуйста, проходи! Я заварю тебе чай.

– Арвид, механизированная промышленность лишь рак, поразивший современный мир. Мой каторжный труд в невежественном городском улье – сплошной кошмар, от которого я вряд ли очнусь. Дела на мельнице ни «хорошими», ни «сносными» не назовешь. Где моя сестра?

Муж и жена – одна сатана, и моя холодность по отношению к Арvidу не могла не распространиться и на Ольгу. Как мог я предъявлять к ней завышенные требования? Как мог ждать от нее столь многого, сам довольствуясь малым? От этих воспоминаний мне до сих пор больно.

Когда родила Вилмера, Ольга не просто написала мне и не просто отправила мужа через полгорода, чтобы сообщить новость. Нет, она обернула пищашего малыша в тяжелые пеленки, закутала в шарфы и пешком пошла с ним через грязные закоулки Стокгольма, дабы представить мне лично. Всего четыремя днями ранее, при родах, Ольга потеряла немало крови и была еще слаба. Не представляю, как она добралась до меня: для женщины в ее состоянии это поступок отважнейший. Жаль, тогда мне не хватило ума похвалить ее. Моя храбрая сестра!

К ее приходу я еще не вернулся со смены. Целых три часа она ждала в коридоре перед запертой дверью, вне сомнений, стараясь защитить моих соседей от плача растерянного младенца. Когда я наконец появился, Ольга встала, чтобы со мной поздороваться. Ее лицо казалось усталым, невообразимо усталым, зато в глазах горел огонек, которого я не видел уже несколько лет.

– Дорогой Свен, посмотри, это Вилмер! – начала она. – Можешь представить себе, что еще несколько дней назад он жил у меня в чреве? Наш мир – место невероятное.

– Правда? – отозвался я и отпер дверь.

В грязной комнатухе, единственное окно которой выходило на кирпичную стену в тускло и слабо освещенном проулке, мы сели за крохотный стол. Когда Ольга кормила Вилмера, я отвел глаза. Я понимал, что она ждет похвалы или благословения по отношению к своему малышу и к невероятному событию его рождения. Понимание это раздражало меня; нарастая, оно заполонило комнату, и я не мог говорить. Эгоизм молодых людей беспримечен. Он окружает их, словно туман.

– Свен, – наконец проговорила Ольга, – знаю, жизнь твоя твоим желаниям не соответствует. Моя моим – тоже. Ситуация для нас с тобой одинаковая. А сейчас, дорогой брат, посмотри на этого ребенка и скажи, ну разве он не прекрасен?

Я мельком глянул на сморщенного паразита, корчащегося у нее на руках. Ольга говорила правильно, она всегда говорила правильно – малыш был чудом. В наш мир он пробился сквозь грязь и холод, и на этом испытания не закончились. Отныне каждый день станет для него не менее тяжелым испытанием. Малыш посмотрел на меня большими заплаканными глазами, и я почувствовал невольное восхищение этим получеловеческим существом: уродец, но бесстрашный. Так мне и следовало сказать Ольге.

– Хм-м, – промычал я. – Вне сомнений, его ждет блестящее будущее – потеть и надрываться на какой-нибудь адской фабрике, тратить убогое жалованье, чтобы дотянуть до преждевременной смерти.

– Прошу тебя, Свен! – В глазах Ольги читалась боль.

– Это я тебя прошу. При невообразимом везении ребенок может пойти по стопам отца. Тогда его ждет жизнь, потраченная на пересчет товара, закупку товара, продажу товара, вечные тревоги о поставке товара и спросе на товар, нескончаемые разговоры о стоимости товара – и так, пока не сойдет с ума он сам и все его окружающие.

Я думаю, нет, я уверен, что Ольга уходила от меня с мокрым от слез лицом.

3

Минуло четыре года. Я превратился в существо, дни которого составляют не жизнь, а, скорее, наступление смерти. Дни были тягостной повинностью. Из-за отсутствия энтузиазма к любому труду на мельнице мне доставалась самая грязная работа, которую я выполнял в ночную смену. В чернейших чернорабочих я держался благодаря отцу. Либо потому что никто по-настоящему не переживает из-за того, что творится в ночную смену, лишь бы простейшие задания выполнялись удовлетворительно.

Фрея родила четверых детей, которых наша мама вечно заставляла меня навещать. Их имена я забывал буквально на следующий день. У Ольги после Вилмера родились еще двое – дочь Хельга и ребенок, умерший вскоре после рождения. За годы, минувшие со дня рождения Вилмера, при моем попустительстве, точнее, при моем молчаливом потворстве, между мной и Ольгой разверзлась бездонная пропасть (по крайней мере, так воспринимал ее я). О смерти ребенка я узнал примерно с недельным опозданием.

Мать пришла навесить меня и, хотя трагедию упомянула, словно задней мыслью, после двадцатиминутного чаепития, думаю, что так, на свой старомодный лад, она умоляла меня помочь. «Твоя сестра плохо о себе заботится», – сказала мать.

Прозвучало жестко, но я, как большинство детей, владел тайным языком своей матери и понял, что она имеет в виду: Ольга переживала сильнейшую депрессию. Порой, чтобы вырваться из паутины самосожаления, нужна психологическая травма. Я всполошился, как алкоголик, проснувшийся в незнакомом месте.

Когда я явился навесить Ольгу, у двери стоял Арвид. Было восемь вечера, он казался измотанным, но поприветствовал меня с обычным невыносимым радушием и пригласил войти. В доме царил непривычная тишина: Вилмер и Хельга, наверное, уже спали. На столе тосковали тарелки: видимо, семья поздно поужинала, и грязную посуду никто не убрал. Арвид глянул на тарелки, потом на меня.

– Жаль, что у нас нет служанки, – посетовал он, натужно улыбаясь. – А то ведь забот полон рот.

Я пробурчал что-то в ответ, не отрывая взгляд от стола. Вон две маленьких тарелки: еда на них лежала как попало: что-то съели, что-то нарочно отодвинули в сторону – это работа Вилмера и Хельги. Вон две больших тарелки: одну словно вылизали до блеска, к другой почти не притронулись.

Арвид долго смотрел на меня, потом сказал:

– Я рад, что ты пришел, Свен, но, сам видишь, Ольга уже легла спать. Может, завтра заглянешь? Уверен, она тебе обрадуется.

Проигнорировав его, я в тяжелых рабочих ботинках поднялся по узкой лестнице. Моя сестра лежала на кровати при зажженной лампе с книгой в руках, но с закрытыми глазами. Когда я сел рядом, матрас скрипнул и продавился.

– Свен, я по тебе скучала. – Ольга словно не удивилась, что я тихо сижу у нее в комнате. Ее лицо казалось до странного пустым. А потом она зарыдала. Душераздирающие всхлипы получались почти беззвучными – чем-то вроде хрипа или скрежета.

Я обнял сестру, и сорочка моя быстро пропиталась ее слезами.

– Прости, Ольга! Мне следовало быть рядом. Все эти годы.

Тем вечером Ольга почти не говорила. Этого и не требовалось. Я сидел рядом с сестрой и крепко ее обнимал. Невероятная по размерам, Ольгина боль будто придавила ее, обездвижила. Эта тяжелая туча заполнила всю комнату, весь дом. Вне сомнений, ее чувствовали и жители окрестностей.

Через какое-то время Ольга взглянула на часы, стоявшие на каминной полке.

– Свен, тебе же на смену нужно. Иди, а не то опоздаешь. Мама говорит, тебя увольняли столько раз, что нынешнюю работу ты потерять не можешь.

– Да, пожалуй, – поморщился я. – Но...

– У меня все образуется. Только, пожалуйста, приходи снова. Вилмер и Хельга обрадуются. – Ольга помрачнела от стыда, но попыталась улыбнуться. – Сейчас я не самая заботливая мать. Арвид измучился, пытаюсь их уговорить.

Я присмотрелся к сестре и почувствовал кислый запах отчаяния, висевший в комнате.

– Я пойду и по пути малышей поцелую. Спокойной ночи, сестренка.

– Спокойной ночи, Свен! Спасибо тебе.

Я задул лампу, вышел из комнаты и закрыл за собой дверь.

На цыпочках, чтобы меньше скрипеть старыми половицами, я дошел до детской и медленно поднял защелку. Во сне малыши были такими мирными, пухлые личики – безмятежными и румяными. Волосы перепутались, руки вытянулись по сторонам, будто малыши смертельно устали, будто каждый день был битвой, а сон – полной и окончательной победой. Я не решился поцеловать племянников в лоб. Я знал: сном малышей рисковать нельзя. Вместо этого я снял с полки колючее шерстяное одеяло и комком бросил на пол меж кроватками. Потом снял ботинки и улегся, опустив голову на переплетенные пальцы. Я слушал шелест их дыхания, сопение заложенных носиков, легкий храп. Ночная смена на мельнице прошла без меня.

4

Так в моей жизни начался сравнительно счастливый период. Двадцати восьми лет от роду я покинул мир промышленности и стал нянькой племянников. Арвид, благословив господь его темную душу, этому радовался. А ведь легко мог возмутиться моим вторжением в его дом, «неспособностью» жены выполнять свои обязанности или дополнительной финансовой нагрузкой (весьма небольшой, ведь я использовал свои сбережения для покупки продуктов и детских вещей). Арвид наверняка слышал, как друзья и соседи шепчутся о женщине, брат которой поселился у нее, потому что она не заботится о детях. Но Арвид лишь вздыхал с облегчением. Эмоционально ограниченный, он не понимал, как справиться с ситуацией, и непонимание его тревожило. Арвид хорошо понимал, как продавать и покупать рыбу и как правильно относиться к жене. А вот нервный срыв в результате невообразимой потери был за пределом его ограниченного понимания.

Господи, как племянники испытывали мое терпение! Первая вспышка радости от того, что мы неожиданно оказались в компании друг друга, сменилась парой месяцев чистой неприязни. Вежливости и послушанию племянников если и учили, то наспех. Арвид оказался беззубым воспитателем. Своим давлением он, по сути, добивался одного – Вилмер и Хельга превращались в непробиваемую стену упрямства. К примеру, наблюдать за его жалкими попытками заставить детей есть было сущим испытанием. А моя сестра... Трудно сказать. Возможно, до смерти неназванного третьего ребенка она лучше умела призывать к дисциплине. Сомневаюсь в этом. Но, потеряв одного ребенка, двух других она стала считать абсолютно бесценными.

Да, дети желали ее порадовать, особенно когда Ольга запиралась в себе и смотрела в дальнюю даль. К тому же они знали, что мать никогда их не обманет. Эту истину дети усваивают раньше, чем мы думаем, хотя еще не представляют границы нашего мира – что реально, что

– нет. Мои племянники просто не знали удержу. Арвида они называли то Рыбы Кишки, то Крабья Жопа. Они любили его, но не уважали.

Разумеется, я счел своим долгом установить какую-никакую дисциплину. Ни малейшего понятия ни о детях, ни об их упрямстве я не имел, поэтому меня ждал сюрприз. Племянников шокировало, даже обидело то, чего я собирался незаметно их лишить, например, длительного, строго соблюдаемого ритуала перед сном, который состоял из купания, сказки и песенки. Племянники оказались сущими чудовищами, по-настоящему жуткими. Большинство детей такие. Но со временем они поняли, что я не так уж плох – по крайней мере, терпимее к поведению и поступкам, которые многие другие взрослые считают неправильными и нездоровыми (например, грубую свободную интерпретацию некоторых слов), – и мы прониклись взаимным уважением. Дети поняли, каким упрямым могу быть я; я понял, какими упрямыми могут быть они. Так, я становился непреклонен, когда речь заходила о достаточном питании или об отходе ко сну, достаточно раннем, чтобы восстановить человеческие качества всех заинтересованных сторон. В вопросах гигиены, пошлости, существования экваториальных чудищ в шкафу племянников держали крепкие тормоза.

Со временем пришлось выработать правила пата и перемирия, и я полюбил маленьких сорванцов. Их странные, непредубежденные замечания частенько заставляли меня врасплох, а умение радоваться пустым будням придавало новых сил. С теплотой вспоминаю случай, когда пятилетний Вилмер задумал порадовать Ольгу, поджарив ее любимую селедку, но сало в кладовой не обнаружил и решил «растопить» сестру. Запах мы почувствовали даже раньше, чем раздались вопли. Хельга вышла из кухни с малиновой, усеянной страшными белыми волдырями ручкой. Следом шел Вилмер, беззаботно объясняя: «Мама вечно говорит, что у Хельги жирка, как у твоего тюлененка». В ответ на это Хельга оторвала взгляд от израненной ручки и захохотала.

Думаю, абсурдно и наверняка банально предполагать, что два черствых тираненка стали для меня смыслом жизни, но получилось именно так. Возможно, мне просто не хватало времени упиваться собственным горем.

5

Когда Вилмер пошел в школу, я остался у сестры и крепко подружился с Хельгой. Если у Вилмера появились типично Арвидовские качества – слабоволие, а в определенных ситуациях и угодливость, то Хельга росла ураганом, который год от года только набирал силу. Она могла быть искренней и черствой, умной и туповатой, языкастой и снисходительной.

Я понимал, что стану не нужен, когда в школу пойдет Хельга, но в свойственной себе манере альтернативный план не составил. Я не собирался ни возвращаться в мир стокгольмской промышленности, ни, чего пуще, выбирать между милостью Арвида и бездомностью.

Выход для меня нашла, конечно же, Ольга.

– Свен, – обратилась она ко мне однажды, когда мы завтракали вместе с ней и с Хельгой. Мое имя Ольга произнесла мелодично и протяжно, словно не имела ни малейшего представления о том, как я отреагирую.

– Да, сестренка?

– Ты подумал о том, чем займешься, после того как Хельга пойдет в школу?

– Я не пойду в школу! – вмешалась Хельга. – Я пересеку Антарктику с дядей Свенном!

– Конечно, милая, а теперь дай мне поговорить с твоим дядей.

Умопомрачительная дерзость во взгляде племянницы меня позабавила. Иначе, наверное, я пропустил бы Ольгин вопрос мимо ушей.

– Да, сестренка, подумал. Можно попробовать себя в тресковом промысле. Или купить шлем и отправиться воевать во Францию.

– Свен, давай серьезнее! Ты уже решил, чем займешься?

– Конечно, нет, Ольга. Этот вопрос постоянно висит надо мной и ввергает в отчаяние.

– Позволь мне предложить тебе альтернативу отчаянию? – неуверенно проговорила Ольга, и я вскинул брови. Испытующе взглянув на меня, сестра продолжила: – Знаю, как ты относишься к черной работе, но слышал ли ты о шахтах?..

– Умоляю тебя! – воскликнул я, мрачней. – Не говори со мной об этом жалком занятии! Отец подкинул тебе эту мысль?

Ольга покраснела под стать мне, ее голос зазвучал слабее:

– Ничего подобного! Твое предположение мне очень обидно.

Пару секунд мы молча смотрели на еду, а Хельга – на нас с беспокойством и радостным волнением.

– Извини меня, – наконец проговорил я. – И, пожалуйста, продолжай.

Ольга откашлялась.

– Слышал ли ты о добыче ископаемых на Шпицбергене?

– На Шпицбергене?

– Да, на Шпицбергене. – Ольга рассказала мне про объявление, вывешенное на здании Полярного института. Многие норвежцы и немало шведов заключали выгодные контракты с некоей компанией, расположенной в городе под названием Лонгйир. Судя по всему, архипелаг изобиловал углем.

Я чувствовал, как Ольгины слова подтачивают мой непоколебимый пессимизм.

– Шпицберген, – повторил я. – Этот край всегда меня очаровывал.

– Да, Свен, я знаю, – мягко, без капли строгости проговорила Ольга.

Я спросил, что Ольга делала у Полярного института, но ответ нашелся сам. Разумеется, она помогала мне. Небось месяцы потратила, подыскивая мне варианты новой счастливой жизни. Я с нежностью посмотрел на Ольгу.

– Моя дорогая сестра! – воскликнул я. – Но работа в шахте... Господи, легкой жизни там не будет. На какой срок заключаются контракты?

– На два года, – ответила Ольга. – В конце первого года предоставляется двухнедельный отпуск. Думаю, ты мог бы заняться исследованием новых земель.

– Исследованием?

– Ну, конечно, исследованиями! – Ольга слегка повысила тон и пронзила меня строгим нетерпеливым взглядом: – Сколько лет приходилось мне слушать про то, как греются на солнце и качаются на волнах огромные усатые моржи; про ненасытных белых медведей с перепончатыми лапами и окровавленными мордами; о разводьях, где неуловимые нарвалы с длинными спиралевидными бивнями плавают, не вспарывая друг друга, словно у них какое-то коллективное зрение? Сколько ты талдычил мне и бедным Вилмеру с Хельгой о переливах северного сияния и о его едва уловимом пении? О треске, когда раскалывается ледник. И обо льде, господа, обо льде! Обо льде, похоже, совершенно бесконечном в многообразии звуков, проявлений и возможностей давить, увечить и убивать добрых моряков-христиан. Разве не об этом ты все время мечтал? Разве не хочешь увидеть все это собственными глазами? Тогда, может, тебе надоест и ты начнешь талдычить о чем-то другом.

Я не смог не рассмеяться. Как здорово она меня знала, как точно уловила суть моих уныло-поучительных лекций!

– Пожалуй, да, я мог бы заняться исследованием новых земель. – Мысль казалась легкой и игровой, эдакой шуткой, без капли серьезного. – А что думаешь ты, юная Хельга? Отправиться мне на поиски арктических приключений?

– Белый медведь лицо тебе сгрызет, дядя Свен!

6

По-моему, мы все сильно удивились, когда я пошел и сделал дело. Через неделю я подписал контракт, через месяц уехал. На вокзале прощание вышло недолгим. Ольга держалась решительно. Обняв за плечи, она всмотрелась мне в глаза, словно требуя клятвы. Арвид пожал мне руку, потом его примеру решительно последовал Вилмер. Хельга не желала встречаться со мной взглядом. Она упорно стояла спиной ко мне, цепляясь за платье Ольги, и так до самого последнего момента, когда кондуктор объявил, что поезд скоро отправляется. Услышав это, Хельга мигом отлепилась от матери, бросилась ко мне и давай колотить меня крошечными, как яблоки, кулачками. Когда она подняла голову, два ручейка слез перерезала свирепая улыбка.

– Без хороших историй не возвращайся! – напутствовала меня малышка.

Прощания не так болезненны, когда место назначения манит, даже если (особенно если?) не знаешь, ни что тебя там ждет, ни когда вернешься. Вот и я, когда садился на поезд до Тромсё, потом на корабль до Шпицбергена и Лонгйира, не испытывал опасений, как то, может быть, ожидалось. Слишком много было неизвестного. Море прочитанного мало подготовило меня к тому, что я увидел по прибытии. Пароходы, угольные шахты, жизнь в вахтовых поселках – все это не очень напоминало радостный трепет и опасность исследования неведомых побережий на корабле с высокими мачтами. Абстрактность того, что ждало впереди, в какой-то мере успокаивала. По моим представлениям бояться мне было нечего. Кроме сестры и ее детей, в Стокгольме у меня не осталось ничего, за что бы стоило переживать.

В угольных шахтах Шпицбергена я трудился очень недолго. Кому-то, возможно, захочется более подробного рассказа о моей кратковременной работе в этом отчаянном ремесле. Могу лишь надеяться, что их не разочарует нижеследующий поверхностный отчет. На сегодняшний день предостаточно написано о почти всевозможных тяготах и несправии в жизни шахтера. Бесконечные часы работы и, как следствие, нехватка солнечного света. Адский труд. Ядовитый воздух. Вездесущая, всепроникающая грязь. Скука и монотонность. Травмы и гибель людей, случающиеся так часто, что сторонние наблюдатели или даже пострадавшие устают удивляться. Преступная эксплуатация самих шахтеров, мизерные жалования которых окончательно опустошаются монополией компаний на местные товары и ресурсы, особенно в таких отдаленных районах, как Шпицберген.

Город Лонгйир, названный в честь американского лесного и угольного магната Джона Лонгйира, оказался значительно цивилизованнее среднестатистического шахтерского поселка, но по-прежнему целиком управлялся одной компанией, конкретно Норвежской государственной горнодобывающей компанией на Шпицбергене¹, которая только образовалась, как подразделение Лонгйирской арктической угольной компании² – основательницы местного угледобывающего бизнеса. Изменение условий привело к притоку контрактов и появлению рекламы в Швеции, которая и попала на глаза Ольге.

К моему прибытию в 1916 году город существовал только десять лет. Все еще было на английском – вывески, этикетки на остатках продуктов, похабные журналы у нас под матрасами. За несколько лет, которые я провел в Лонгйире, обстановка напоминала мне сильную качку: город то пустел, то наполнялся новыми людьми. Есть что-то исконно странное в поселении, где нет коренных жителей. Люди приезжают и уезжают, оставляя после себя, в лучшем случае, крохи своей культуры. У меня часто возникало пугающее ощущение, что по-настоящему в Лонгйире никто не жил. Люди не задерживались настолько, чтобы оставить достаточно глубокий след, а даже если умирали, то их тела навсегда прибирал к себе собственник-лед.

¹ Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK)

² Longyear's Arctic Coal Company (ACC)

Цивилизация – если ее так можно назвать – была если не прозрачным налетом, то, как минимум, сильно просвечивающим. Люди и их город – призраки, живое эхо. Шпицберген – единственная константа.

«Город», определенно, слово неподходящее, или было таковым. Вы когда-нибудь видели, как усконогий рак балянус цепляется за черную щербатую скалу, а волны снова и снова терзают его? Порой наступает отлив, волны уменьшаются, и упрямый балянус получает короткую передышку, но море неизменно возвращается со всем своим прежним гневом и снова хлещет маленькое существо. Поселения в Арктике такие же. Разница, пожалуй, в том, что балянусы крепче людей.

За десять лет маленькому городку особо не вырасти, если только не начнется золотая лихорадка. В Лонгйире золотой лихорадки не было – лишь глупая суета. До городка я добрался летом, когда проще соврать себе, что здесь тебя ждет успех. Убогие строения громоздились на горном склоне группами – часть на сваях спасалась от грязной тали, часть прижималась к скале. Под ними широкой полосой ломаного камня тянулась приливная полоса. Нам домами возвышалась гора, бурая, безлесная, недружелюбная. Казалось, единственное ее предназначение – отбрасывать тень.

Когда я сошел с причала, мое впечатление было двояким. Во-первых, вопреки всем страшным рассказам о мучительных испытаниях, которые ждут людей на севере, я был слегка разочарован. Почему я не онемел от чудовищной силы безжалостной белой смерти? Я ждал, что, увидев Арктику, почувствую зловещий холодок, а испытал недоумение. Вторым моим впечатлением, более стойким и точным, была полная визуальная дезориентация. Протяженность Ис-фьорда с востока на запад так велика, что остров Шпицберген разделен фактически пополам, отроги уходят далеко на север и на юг, а Лонгйир лежит почти в самом центре. Чувство расстояния я потерял полностью, когда смотрел на море позади меня и горы, которые громоздились одна на другую. Противоположная сторона залива могла быть и в ста, и в ста тысячах метров от меня.

Для Норвежской государственной горнодобывающей компании год 1916-й стал суматошным. Американцы потерпели в Лонгйире финансовый крах, и норвежцы вознамерились сделать все правильно. Они построили новые бараки для шахтеров и только что пустили в обращение бумажные банкноты с символикой Компании, уже вызвавшие недовольство работников.

На смену я вышел через день после приезда. Работа на фабрике и на шахте – сходство бесконечное. Если берешься за что-то, понимая, что тебя ждет эксплуатация до полусмерти, а то и сверх того, не придется разбираться с рухнувшими надеждами. Мое положение усугублялось тем, что я несколько лет не занимался грубым механическим трудом, в результате чего ум заострился, а тело ослабло. Перемены оказались неприятными. Примитивные разговоры или вообще их отсутствие убивают более сложные функции рассудка, а невыносимый труд превращает телесную форму в нечто неузнаваемое – в красное полотно силы и боли.

Каким-то образом я убедил себя, что все-таки место, где ты пребываешь, чего-то значит, а то и все. Житель Стокгольма, например, после рабочей смены пожелавший посмотреть свой город, имеет такую возможность. Настоящие города световым днем не ограничены. Но желание увидеть страшные красоты Шпицбергена – затея пустая. Чередующиеся смены ничего не меняют. Летом, конечно, солнечного света предостаточно, но у меня не было желания никуда выбираться.

На время я впал в отчаяние. Я никого не знал и не говорил по-норвежски. Немногочисленные шведские контрактники сплотились в тесный круг, но я держался особняком, так же как и в Стокгольме. Одиночество, усугубленное географической изоляцией, едва не доконало меня. Тем летом я не раз и не два подумывал о возвращении домой. Но как я мог вернуться? Подобная перспектива сулила разорение. Да и разве позволила бы мне Компания разорвать контракт? Руководство шахт сочувствием не славится.

Естественно, думал я и о самоубийстве. Идея казалась мне притягательной. Но я, очень далекий от религии и ее многочисленных абсурдных утешений, собственного небытия боялся до умопомрачения. С тех пор как я был не по годам развитым, скептически настроенным ребенком, идея погасить свечу или звезду наполняла меня экзистенциальным ужасом. Я понимал, что прекращу существовать, но мир без собственной персоны в упор не представлял. Это, конечно же, форма нарциссизма, но разве мы день ото дня не живем, обманываясь собственной важностью? Дети следуют этой логике до конца, а неспособные или не желающие верить в загробную жизнь неизбежно оказываются у губительной ментальной бездны. В таком состоянии единственная возможная реакция – зажмуриться, подтянуть колени к груди и хныкать.

Во время невыносимо долгих смен в темноте особых возможностей для рефлексии не представлялось. Позволит себе шахтер замечаться и тайком раскиснет – случается что-то плохое. Я сталкивался с таким несметное множество раз. Переполненные углем дрезины то и дело проезжали по ногам неосторожных, уродуя пальцы так, что в них потом трудно было распознать человеческие конечности, или отсекая их начисто. Кирки и кайла вонзались в мягкие ткани бедер. Спотыкаясь в темноте, шахтеры с чудовищной регулярностью раскалывали себе черепа и выбивали зубы. Куски пород падали на головы. Никто не обращал внимания на не пригодный для дыхания воздух. Или, что хуже всего, бригадиры «лентяев» громко отчитывали их, налагая дополнительные финансовые взыскания.

Многие такие неосторожности можно списать на усталость и голод, а вот на беседы свою слабую энергию шахтеры не тратят, да и фабричные работники тоже. Для всего этого в жизни слишком много шума и проблем. Поэтому люди оказываются наедине со своими мыслями, и пока одни – пожалуй, большинство – считают это пустым занятием, другие погружаются в мрачные раздумья, оставляя тело уязвимым перед разнообразным физическим уроном.

Я понимал, что отношусь ко второй группе, и за работой старался не отрешаться от окружающей действительности, хоть и реагировал на нее слабо. А вот по окончании смены, когда остальные шахтеры брели в салун, принадлежащий угольной компании, чтобы потешиться пустыми разговорами и потратить банкноты, напечатанные угольной компанией и заработанные кровью и потом, на джин и пиво, закупленные угольной компанией, я резко становился потенциально опасным для себя самого. Разумеется, меня, вопреки очевидному и мрачному безразличию, тоже звали в салун. Небольшая группа шведов с презрением смотрела на непрсыхающих норвежцев. Но, как и во всем остальном, если долго отказываться, приглашать в итоге перестанут.

В Стокгольме меня это мало беспокоило. После смены я с определенным самодовольством мог вернуться к себе в квартиру, к своим книгам, или бродить по городу в поисках самой красивой, умной и меланхоличной шлюхи. А вот на Шпицбергене... На Шпицбергене, идти, увы, некуда, кроме холодного пустого барака, где ждут тонкий матрас на скрипучей койке и несколько драгоценных, привезенных с собой книг, которые я читал столько раз, что начали выпадать страницы. Парадокс ситуации от меня не укрылся: я приехал на Шпицберген увидеть большой – больший, чем в Стокгольме – мир, а в итоге мой мир стал ничтожно мал.

Я отчаялся. Я писал страдальческие письма Ольге, игнорируя угрызения совести за то, что она почувствует себя беспомощной или, чего хуже, виноватой в моих страданиях. Я считал дни, которые тянулись до невыносимого вяло. В ту пору я стал больше думать о моряках – участниках полярных экспедиций, которые так меня завораживали. О мрачных зимах в ледяном плену. О безнадежности. О прогрессивных капитанах, пытавшихся бороться с вялостью (и цингой) своего экипажа физическими упражнениями и театральными постановками. Читать о таком всегда было скучно. Трудно описывать бедственное положение читателю, далекому от конкретной ситуации. Теперь же я прочувствовал его на собственной шкуре. Я наконец усвоил, что в нескончаемой скуке в холодной глуши ничего романтического нет.

С Чарльзом Макинтайром я познакомился, когда на душе у меня было скверно. Как никогда скверно. Нескончаемые шесть месяцев я проработал среди сильнейшего физического дискомфорта, а во всех иных отношениях существовал без стимулов – образовательных, развлекательных, межличностных – необходимых человеку для здоровья тела и духа. Их отсутствие сказалось на мне самым плачевным образом. Я ковлял меж бараками, не поднимая глаз, а когда требовалось говорить, бормотал и заикался; кожа у меня стала бледной, как мясо скумбрии. Руки из карманов я вынимал, только если этого требовала работа; болевшие от холода и чрезмерной нагрузки пальцы сжимал так, что они напоминали комки переплетенных корней. Не раз и не два я спотыкался на импровизированных мостках – на плавнике и грубо распиленных сосновых досках, кое-как брошенных на замерзающую и незамерзающую грязь. Руки я держал по швам, поэтому падал ничком, уродуя покрытое синяками, бородатое лицо. В результате таких падений я потерял два с половиной зуба. Другие работники шарахались от меня. После пары месяцев работы по контракту я уже отвращал своей неприкрытой мизантропией. Теперь же мое постыдно-убогое состояние воспринималось как признак болезни или исключительного невезения. И то и другое могло быть заразным. Шахтеры в этом отношении мало чем отличаются от моряков.

А потом стало темно. Постоянно темно. Возможно, шахтер готов к этому лучше, чем моряк. Он и так просыпается до восхода солнца, работает в адском мраке и ложится спать ночью. Думаю, мало кто из нас заметил момент, когда солнце исчезло окончательно и бесповоротно. В полярных регионах зимний покров опускается с обманчивой быстротой. Буквально за две-три недели летнее солнце – секунды назад еще казалось, что оно будет светить вечно – пожирается огромными порциями, как будто ночь проснулась после долгой спячки и изнывает от голода.

Последствия постоянной темноты ощущаются не сразу. Стоит к ней привыкнуть, понимаешь, что она похожа на холод как ничто другое – больше утомляет, чем обжигает. Напоминает она, скорее, медленный яд, чем нож. Утомление наступает постепенно – порой не чувствуется неделями, – но рано или поздно сказывается. За первую зиму в Арктике я превратился в тонкую безнадежную пустую оболочку человека, сброшенную под камень. А где была моя новая, полинявшая ипостась? Почему-то она никак не появлялась.

Итак, ледяным январским вечером, когда я из столовой апатично направился к баракам, вдруг услышал свое имя, но не узнал его. Но голос звучал настойчиво, и в итоге я неохотно остановился и обернулся. За спиной у меня на досках балансировал мужчина. Я назвал бы его старым или пожилым, но в мерцающем свете фонарей он перескакивал с ноги на ногу с резвостью, не сочетающейся с его очевидным возрастом. Седая борода торчала из-под теплого кашне под невероятным углом. Казалось, морщины выливаются у него из глаз и растекаются по лбу и щекам. Они шевелились и подпрыгивали в такт бешеной мимике. Не сразу я сообразил, что он говорит на грамотном шведском – совершенно понятном, хоть и слегка высокопарном.

– Ты Ормсон или нет? Смурной швед?

Я уставился на него в немой растерянности. Вместе с коммуникабельностью я потерял хорошие манеры.

– Ты наверняка швед, – невозмутимо продолжал седебородый. – Позволь мне представиться. Макинтайр. Моя фамилия Макинтайр, я геолог из Королевского общества. Могу я убедить тебя пойти в мое жилище, чтобы спастись от этой адской стужи?

– Вы говорите по-шведски? – наконец спросил я.

– А ты парень наблюдательный, – отозвался Макинтайр, моргнув несколько раз. Все это время его ноги притопывали, доска скрипела. У меня голова кружилась от его неутомности.

Потом он хрипло захохотал, словно мы попали в уморительную ситуацию. Макинтайр объяснил, что недолго жил в Фалуне, известном своей медной шахтой, там он и освоил шведский, хотя признавал, что норвежским владеет лучше. – Проблем с языками у меня не возникало никогда, и это очень хорошо, ведь я склонен бросать занятия, с которыми возникают проблемы. Моя бедная покойная матушка частенько на это сетовала. Пожалуйста, давай ненадолго зайдем ко мне!

– Вы работаете на Королевское общество? Вы... британец?

– Шотландец, – уточнил Макинтайр и замигал снова и снова, нервно и судорожно.

Я заворчал, медленно усваивая информацию. Давненько не приходилось мне думать о чем-то, кроме тягот уединенности во всех ее проявлениях.

– Пожалуйста, сэр, пойдемте, – настаивал Макинтайр.

И я пошел. Подпрыгивая и пританцовывая, Макинтайр вел меня по доскам к маленькой лачуге в другом конце лагеря. Я плелся следом, чувствуя, что почти не переживаю из-за того, кто этот тип и что он от меня хочет.

Совершенно непримечательная снаружи лачужка внутри оказалась совершенно не такой, как я думал. Во-первых, после уличного холода жар от печи действовал угнетающе. Два окна полностью сковала тающая изморось. Малейший сквозняк и снег, залетающий сквозь трещины в обшивке, мгновенно превращались в пар. Глубоко потрясенный, я крепко пропотел и едва не потерял сознание. В отличие от норвежцев, Макинтайр на растопке не экономил.

Еще поразительнее жара была сама эстетика жилища. Его набили вещами – обильно, бессознательно. Ковры покрывали каждый сантиметр пола и порой лежали в несколько слоев. Некоторые, на мой неискушенный взгляд, казались дорогими. Два дивана стояли перпендикулярно друг другу, оба заваленные одеялами и подушками. Два дивана! Теплый желтый свет от нескольких масляных ламп делал обстановку светлой и радостной. Макинтайр явно не экономил и на парафине.

Вдоль стен тянулись полки, только места Макинтайру все равно не хватило, потому что книги шаткими стопками стояли по углам, на приставном столе, на стуле. На маленьком столике стояли спиртовка, полупустая бутылка вина с пробкой и один стакан, хотя мягких деревянных стульев было два, по разные стороны стола. Лачуга насквозь провоняла табачным дымом и горелым ламповым маслом, сам воздух был тяжелым. Между диванами стояло что-то вроде журнального столика, почти полностью заваленного блокнотами, частью закрытыми, частью открытыми, страницы которых были испещрены каракулями. В углу, на отдельном столике, стояла вещица, подобную которой я видел лишь пару раз в жизни, – патефон.

В общем и целом, передо мной был настоящий шатер султана в миниатюре – роскошь, отделенная от унылого запустения тончайшей перегородкой. Однако лачуга Макинтайра была не путевым дворцом, а воспринималась, скорее, как гнездо. Например, я едва нашел место, чтобы снять сапоги.

Макинтайр проворно снял свои, верхнюю одежду кучей бросил в угол дивана и жестом велел мне сделать то же самое.

– Проходи, проходи, – сказал он на шведском. – Не стесняйся!

Удобно устроившись на стуле, Макинтайр стал набивать трубку. Я не успел ни раздеться, ни решить, куда сесть, а он уже вовсю затягивался. В итоге сел я на диван и начал оглядываться по сторонам, вспоминая, как ведут себя в приличной компании. В блокноты я старался не заглядывать, хотя каракули не разобрал бы, даже окажись они на шведском, что, разумеется, было не так.

Макинтайр наблюдал за мной с изумлением. Ему могло быть лет сорок или шестьдесят. Волосы, как и борода, были седые, морщины изрезали не только лицо, но и шею. Обветренные, с покрасневшими костяшками, его руки оказались неожиданно сильными, а серые, в тон бороде и волосам, глаза – яркими, живыми и, как мне сразу подумалось, полными ума и озор-

ства. У шахтеров таких не встретишь. Макинтайр хоть и жил среди местной суеты, но сумел над ней возвыситься.

– Давай снова начнем с формальностей, – предложил хозяин лачуги. – Слишком холодно было для этого на улице. Меня зовут Макинтайр. Чарльз Макинтайр. Прежде – лондонец. Впоследствии – гражданин мира. Но мои родичи, конечно же, шотландцы. Сорванные с места шотландцы. А вы, сэр?.. Вы, хм... Мистер Ормсон?

– Свен, – ответил я, откашлявшись. – Свен Ормсон. Я из Стокгольма. То есть швед. Но вы и так это знали. – Слова вырывались судорожно.

Во взгляде Макинтайра каким-то образом мешались терпение и нетерпение. Он ждал от меня еще каких-то слов.

– Я... Как вы узнали обо мне, сэр?

– Ой, это объяснить несложно. Повседневная жизнь здесь довольно скучна, как тебе прекрасно известно. Разумеется, арктические пейзажи меня покорили – от них, дружище, дух захватывает. По твоему лицу вижу, что у тебя еще не захватывает, но ведь ты и возможности такой себе еще не дал, верно? Нет, нет, ты все долбишь этот тоскливый туннель весь день. А сейчас, конечно, еще и темное время года. Время смотреть внутрь, а не наружу. – Макинтайр остановился, нахмутив лоб, словно само упоминание глубокого раздумья запустило сам процесс. – Так, о чем я говорил?

– О том, как вы узнали мое имя, сэр.

– Ах, да. Кажется, я уже упомянул, что я геолог. Я жил во многих местах. Подробности могут подождать, но последние десять лет я с готовностью служил Джону Лонгйиру. Чтобы не быть к себе несправедливым, скажу, что и прежде для Лонгйира, и сейчас для норвежцев я играю роль разведчика. Извини за такое слово. Контекст у него неуместный. Королевское общество, увы, не благоволит тем своим членам, которые занимаются наукой не ради открытий, а, скажем так, ради выгоды. Я пользовался доверием мистера Лонгйира и, так уж случилось, радовался компании американцев. – Год назад, когда американцы ушли, и Лонгйирская арктическая угольная компания превратилась в Норвежскую государственную горнодобывающую компанию, Макинтайр, по его словам, подписал контракт с норвежцами. – Можно сказать, дружище, что здесь, в Лонгйире, я с самого начала.

Я постарался «нарисовать» на лице добродушное безразличие. Я уже чувствовал расположение к Макинтайру, но при этом пребывал в полной растерянности.

– Вернемся к вам, мистер Ормсон. Вы сочтете непростительным, если я скажу, что считаю норвежцев страшными занудами? Наверное, нет. Наверное, вы слишком хорошо понимаете, о чем я. В управлении Компанией норвежцы сменили американцев, а значит, я почти начисто лишился интересных разговоров. Норвежцы такие мрачные. Такие серьезные. Их управляющие организуют работу с безустанный монотонностью, потом они пьют, пьют до тех пор, пока едва стоят на ногах, а их чувство юмора от выпивки не улучшается. Кто-то даже скажет, что оно ухудшается. А местные шахтеры... Ну, ты знаешь шахтеров.

Я смотрел на Макинтайра с большим недоверием. В отношении норвежцев он, конечно же, не ошибся. И характеристику он подобрал точную – полное отсутствие у них чувства юмора в Швеции считают убедительно доказанным. Но вдруг он ищет во мне яркого собеседника?

Макинтайр выдерживал паузу – похоже, ему нравилось анализировать собственные фразы, озвучивать их, потом проверять на достоверность.

– Если позволишь, то шведы немногим лучше. Они, так сказать, на один покров. Суровый климат порождает суровых людей. Ведь именно эти качества заставили их морем добраться до Англии, да еще столь жуткой численностью? Хотя разве я вправе судить? Посмотри на шотландцев! Других таких брюзгливых ханжей-резонеров свет не видывал.

Снова возникла пауза. Полагаю, мы оба решали, заслуживает ли Макинтайр права считаться исключением.

– А еще есть вы, мистер Ормсон. Я дошел до сути и чувствую, что сказать мне почти нечего. Я смотрю, как ты ходишь туда-сюда, опустив голову так низко, словно только что узнал, что ты не жилец. Как все местные, я ужинаю в столовой, а ты, вечно витающий в облаках, вряд ли хоть раз меня замечал. Местные болтают. Болтают в основном на норвежском, на котором ты явно не говоришь. Я слышал, что местные говорят о тебе. – Макинтайр отмахнулся, словно умудрившись меня заинтриговать. – Нет, нет, не спрашивай, что они болтают. Кого колышет мнение шахтеров? Я для себя отметил лишь то, что ты держишься особняком и живо интересуешься книгами. Книгами, мистер Ормсон. Представляешь, как трудно найти читающего человека на архипелаге Шпицберген?

Чувствовалось, что вопрос не пустая риторика.

– Да, – ответил я.

– Да! – повторил Макинтайр. – В этом-то дело! Ты книгочей вроде меня и потенциальный собеседник! Теперь понимаешь, как нужен мне товарищ с определенной, нет, пусть даже с минимальной любознательностью?! А тебе... Тебе, наверное, нужен друг.

8

Не прошло и двух недель, а я возродился как человек, раскрыв Макинтайру не только свою тягу к литературе, но и свои мечты и сожаления. Он имел привычку подолгу говорить, а потом неожиданно останавливаться, будто он с самого начала ждал, когда я его перебею, и потом, слегка раздосадованный, передавал слово мне. В возникшей паузе я начинал говорить снова.

Моя правильность и тяга к формальности и забавляли Макинтайра, и раздражали. Он звал меня Пастором или Отцом Ормсоном. Он смаковал свои насмешки. При этом он испытывал огромный, фактически неиссякаемый интерес к рассказам о буднях стокгольмских фабрик и о моей семье. Что касается наших познаний в исследованиях Арктики, то они во многом совпадали, хотя оставалось и немало такого, чем мы могли друг друга потчевать.

Постепенно я притерся к Макинтайру и порой даже отвечал на его насмешки. Он позволял мне свободно пользоваться его книгами – шведских среди них было сравнительно мало – при условии, что я буду читать у него в лачуге. Он не доверял ни «комфортабельности» барачков, ни намерениям других шахтеров, которые, как он опасался, могли осквернить его книги, если бы им до зарезу понадобилась папиросная или туалетная бумага. Разумеется, это означало, что мое чтение регулярно прерывалось разговорами Макинтайра. Ему прекрасно удавалось одновременно читать, говорить, думать, писать, курить, пить, а порой и спать. Я не возражал. За возможность подключить критическое мышление и вернуть остроту притупившемуся уму я вынес бы куда больше. Когда Макинтайр считал нужным врваться в мои грезы, его вопросы и замечания, как правило, того стоили. Он обладал пытливым умом. Географией и историей Арктики его способности не ограничивались. Например, он очень много размышлял о музыке.

Когда Макинтайр впервые включил мне музыку на патефоне, я слушал ее бездумно – примерно так же едят безвкусное филе трески, только потому что настало время обеда. К вдумчивому слушанию мой мозг не привык. В моем детстве места музыке не было. Я знал песни пьяных рабочих и атональные частушки юнцов, а в музыке посложнее, которую можно назвать утонченной, я не разбирался совершенно. Даже если бы моя семья интересовалась музыкой, мы не смогли бы позволить себе одежду, в которой позволительно пойти на симфонический концерт.

Любому меломану история моего «прозрения» покажется искренней и, возможно, банальной, но как есть, так есть. Макинтайра интересовали вещи, мне совершенно неизвестные. Его забавляло, когда при чтении я вслух изумлялся или открывал истины, сотни раз при-

ходившие в голову ему и другим образованным людям. Но высокомерия по отношению ко мне Макинтайр не проявлял. В ту пору я так думал и совершенно уверен сейчас, что он был искренен в желании развить мой ум.

Макинтайр упорно проигрывал музыку на своих цилиндрических валиках. Он ставил их, когда мы курили, когда читали, когда ели сушеную рыбу. Недели напролет я слушал, но не слышал. Потом однажды, совершенно неожиданно, я услышал – по-настоящему услышал – музыку в первый раз. Я помню тот самый момент, потому что прочувствовал его физически, не осознав причину. Я курил табак Макинтайра – порой он был мне скорее покровителем, чем другом, потому что отметал все попытки вернуть любезность – когда я вдруг почувствовал в груди какой-то трепет. Сперва я принял его за боль. Наверное, я проглотил слишком много табачной слюны. Отец вечно жаловался, что от нее живот крутит. Но ведь трепет чувствовался в сердце или где-то в груди – беспокойная дрожь, вроде учащенного сердцебиения. Ощущение двигалось вверх, опаяя мне шею, виски, лоб. Перспектива потерять сознание казалась позорной. Я опустил взгляд на трубку, чтобы Макинтайр не заметил мое состояние и не подколот. В отличие от мимолетных мыслей или воспоминаний, связанных с весельем, стыдом, эротикой, трепет продолжался, нарастал, захватывал плечи и не отпускал. Разумеется, его вызвала музыка, причем музыка в своем убогом и примитивном подобии – втиснутая в медную трубу, отпечатанная на воске, нанесенная на металл, затем выпущенная обратно.

Во власти этой минорной эйфории я окончательно потерял стыд.

– Что это? – спросил я.

Макинтайр оторвался от книги, удивленный моим волнением.

– В смысле? – уточнил он.

– Что это за музыка?

– А-а. – В лице у него мелькнуло глубокое понимание. – Это Дворжак.

Услышав незнакомое имя, я нахмурился, а Макинтайр встал и пошел к патефону, чтобы рассмотреть ярлык на футляре воскового валика.

– Антонин Дворжак, квинтет для фортепиано, двух скрипок, альты и виолончели ля мажор, опус номер восемьдесят один. Если не ошибаюсь, дружище, поразила тебя вторая часть под названием «Думка».

Макинтайра я слушал вполуха, замороженный мрачным нарастанием, падением и игрой скрипок. Звуки тоски или, по крайней мере, глубокой меланхолии, совершенно беспрепятственно пересекали пространство и время, сражая меня наповал. На глаза навернулись слезы, руки стали до странного горячими – ощущение было и волнующим, и пугающим. Могу уподобить его только пониманию, что выпито слишком много, что собственное тело не слушается, что впоследствии придется туго, но сейчас это неважно.

Когда музыка зазвучала бодрее и куда веселее, не вызывая особо сильных чувств, я спросил Макинтайра, что такое думка.

Макинтайр объяснил, как мог. Он сказал, что «думка» в переводе с украинского означает «размышление», а еще это длинная народная баллада, по настроению печальная или трагическая. Новаторы вроде Дворжака раскапывали музыкальные традиции и гармонии сельской бедноты, затем переплавляли и перестраивали их в современные композиции. Без неотесанных, неприкрашенных выражений простонародья, по выражению Макинтайра, господ композиторы в строгих костюмах понимали бы человеческую душу плохо или не понимали бы вообще. Но в этом и заключался гений Дворжака – правду и горечь человеческого существования он перевел на язык, понятный каждому.

Согласен я с такой позицией или нет, я не знал. Пожалуй, я предпочел бы услышать думку в исполнении крестьянина-скрипача, который сидел бы у костра в перепачканных навозом сапогах, уставшего от работы, раздавленного жестокими превратностями судьбы, но остро чувствующего или отчаянно желающего почувствовать краткие, редкие, неоспоримые радо-

сти, то и дело озаряющие его недолгую тяжелую жизнь. Но вслух я об этом не сказал. В конце концов, душу мне разбередил Дворжак, а не крестьянин.

– Чарльз, можно снова послушать эту часть?

Макинтайр снисходительно усмехнулся.

– Да, конечно. – Он поставил иглу на бороздку, поднял ее наверх, и музыка полилась снова.

9

Моя первая зима в Арктике – совершенно не похожая на то, чего я боялся и на что надеялся в мечтах о лишениях и вознесении личности, – продолжалась таким странным образом. Товарищество и живой разговор создавали жуткое чувство того, что я могу или, как минимум, хочу выжить. Однако в моих испытаниях не было ни капли романтики. Я не мучился, волоча сани по разреженному льду, ни от чернеющих десен и облысения, ни от атак белых медведей, ни от безумия ледяного плена в темные, зимние месяцы. Да, как и все остальные, я мучился от холода и от неуклонно наползающего, окутывающего отчаяния, которое несет постоянная темнота. Самые заклятые мои враги, особенно до встречи с Макинтайром, были столь вездесущи и прозаичны, что они вряд ли требуют дальнейшего упоминания, – унылый низкооплачиваемый труд, скука, социальное унижение. Таких можно нажать где угодно. Возможно, в этом и заключалась проблема. Я отправился в Арктику на поиски приключений и выяснил, что с таким же успехом мог остаться в Стокгольме и вернуться во чрево промышленности.

Если бы не Макинтайр, я вряд ли справился бы с таким разочарованием. Поэтому я сдерживал тревогу о том, что занимаю слишком много его времени и злоупотребляю гостеприимством – Макинтайр называл такое чепухой – и благодаря странному осмосу, вследствие которого настоящая дружба проводит свежий воздух в каждый уголок беспросветного существования, я начал просыпаться по утрам, чувствуя, как минимум, смирение, если не радость тому, что я жив.

Небольшой «льготный» период. А потом, в марте 1917-го, всего через девять месяцев после приезда на Шпицберген, на меня рухнула гора. В начале той смены, с животом, раздутым и булькающим от горячего чая и старых бисквитов, я, физически еще не готовый к суровой правде наступившего дня, стоял, точнее, полустоял-полугорбился, загружая уголь из жалкого угольного пласта в вагонетку. То утро мне запомнилось отчетливо. Свет моей нашлаемной лампы отражался цветными призмами от неведомых минералов, примешивающихся к нашей скудной отборке: с точки зрения геологии та гора считалась менее ценной. Помню, я думал, что наслаждался бы красотой света, сверкающего в этой запыленной адской расселине, не будь каждая лопата такой ужасно тяжелой.

Ближе других ко мне работал норвежец по имени Олаф, сухопарый великан, беспристрастная угрюмость которого меня, как ни странно, успокаивала. Мы частенько выходили на смену вместе, поэтому временами разговаривали на ломаной смеси норвежского и шведского.

– Говорят, скоро здесь будет солнце, – проговорил он тем утром.

Я никогда не был уверен, особенно поначалу, обращается ли он ко мне, или к стене, или к своей лопате.

– Да, – отозвался я через какое-то время. – Олаф, разве это твоя первая зима в Арктике? Разве ты не знаешь, когда вернется солнце?

Олаф задумался и неопределенно покачал головой, словно не желая обращаться к собственному прошлому.

Несколько минут мы молча работали лопатами, а потом Олаф снова поднял голову.

– Думаешь, сегодня в столовой нам дадут свинину?

– Думаю, да. По средам свинину дают часто.

Олаф кивнул, явно довольный ответом.

У меня возникло странное ощущение сна, текущей мысли, парения внутри собственного тела, которое возникает, когда из-за нехватки сна не можешь проснуться достаточно, чтобы разобрать, день сейчас или ночь. Разминая пальцы рук и ног, чтобы отогнать это чувство, я размышлял об Олафе. Вдруг он – образ будущего меня, присланный в знак предупреждения? Но о чем именно он должен меня предупредить?

В этот момент свет моей нашлаемой лампы задрожал, потом заплескался, потом с потолка шахты посыпалась пыль. Я перехватил взгляд Олафа. Его глаза были тусклыми, пустыми, непонимающими. Глаза проигравшего. Внезапно раздался оглушительный грохот, подобный грому под землей, затем пронзительный треск. Потолочная балка треснула и раскололась под неестественно острым углом. Только сообразив, что треск и грохот раздаются у нас над головами, я почувствовал порыв ледяного воздуха и раздирающую боль в правой стороне лица. Все провалилось во мрак.

10

Очнулся я в продуваемом насквозь козлятнике, который называли лазаретом. Ветер с воем влетал в незаконопаченные щели стен и пытался сорвать оловянную крышу. Стук и треск звучали так мерно, что я понял, что мне снится фабрика. Мозг работал вяло, словно конь, которого не подстегнули, но я понимал, и где нахожусь, и что на шахте случилась какая-то беда. Попытавшись оглядеться, я обнаружил, что моя шея крепко чем-то удерживается. Тусклый свет полосками падал на мой левый глаз – работал только он.

– Эй, люди! – слабо прохрипел я.

Ответа не последовало.

– Эй, люди! – снова позвал я, на сей раз с чуть большей силой.

Тогда открылась дверь, и надо мной склонился норвежец, которого я знал как хирурга Компании. Не сказав ни слова, он приподнял меня и решительно, но не грубо перевернул на правый бок. С небольшой тревогой он осмотрел мне лицо и плечо, с любопытством потыкал пальцем в повязку у глаза, сказал что-то непонятное – может, на латыни? – и вышел за дверь. Из уха у меня вытекало и капало что-то вязкое. Через несколько секунд на простыне образовалась целая лужица неведомой влаги, покинувшей мое тело, и каждая новая капля падала со звучным «шлеп!». Пахла жидкость алкоголем и тухлым мясом. В момент тошнотного просветления я понял, что меня дренируют.

Теперь я видел одну сторону козлятника, и вид был мрачный. Четверо лежали на койках, вроде моей, так кучно, что доктор протиснулся бы между ними с трудом. Один был с головы до ног в бинтах и жалобно стонал во сне. Другой, с побелевшим от боли лицом, поджатыми губами и подтянутыми к груди коленями, смотрел мимо меня. Еще двое, явно мертвые, лежали накрытые простынями. Я попытался разобраться в вызывающей ужас сцене. Попытка отняла последние силы, и я начал погружаться в сон, когда дверь снова открылась, и на границе моего нарушенного восприятия замаячило милое лицо Макинтайра.

Макинтайр улыбался, но его улыбка показалась усталой и слегка натужной.

– Дружище, дорогой мой дружище, – начал он, – я очень боялся, что в наш суровый край ты больше не вернешься. Какое-то время казалось, что ты уплыл... туда, где потеплее, – Макинтайр попробовал весело усмехнуться, но получилось не очень. – Пожалуйста, скажи, как ты себя чувствуешь?

– Лицо болит, – ответил я.

– Да, да, так я и думал. Ты сильно пострадал, когда обвалился шахтный ствол. Ты, как живые любят говорить едва не погибшим, в рубашке родился.

– Шахтный ствол... обвалился?

– Да. Ты знал об этом? Его продавила лавина. Очень немилосердное деяние Божье, если столь ужасные катастрофы можно объяснить Его волей.

По словам Макинтайра, лавина полностью разрушила два шахтных ствола и несколько построек у подножья горы. Девять человек погибли, пятеро получили серьезные ранения, в том числе и я.

От ужаса голова шла кругом, информация едва усваивалась. Снова подкатила тошнота. Осознание большой вероятности собственной гибели – ее невообразимой близости – вызвало ощущение сродни калечащему вертиго. Наверное, думать о себе, а не о тех, кто думать больше не в состоянии, – непростительно и бездушно, но было именно так.

– Ствол обвалился, – недоуменно повторил я. – Но как же?.. Как же меня подняли на поверхность?

Как объяснил Макинтайр, множество людей работали день и ночь – раскапывали и кричали, кричали и раскапывали. В результате некоторым пришлось ампутировать фаланги пальцев. В решающий момент привезли собак, отправленных голландцами из Баренцбурга, поселения, расположенного на Ис-фьорде, западнее Лонгйира. Для нескольких счастливых вроде меня они стали спасением.

– Как долго я был под завалами?

– Три дня, дружище, или чуть меньше. Я уже надеяться перестал. Когда тебя вытащили, ты казался мертвым, ну, или почти мертвым, и еще восемь дней пролежал без сознания. Наш местный доктор оказался искуснее, чем я за ним признавал. Или, что вероятнее, ты оказался необычайно сильным.

– А Олаф? – спросил я.

– Увы, он погиб. Ему при обвале сразу проломило голову. Как едва не случилось с тобой. Я подумал о жене Олафа, оставшейся в Тромсё. Однажды, в редком порыве откровения, Олаф признался: он хотел бы, чтобы она пилила его больше, показывая, что он ей небезразличен. Мол, приезжая домой на побывки, он не мог добиться от нее никаких эмоций. Интересно, а сейчас у нее появились эмоции?

– А мои родные об аварии знают? Ольга знает? – Перед мысленным взором промелькнул образ Ольги, безутешно плачущей над телеграммой. Видимо, от неожиданной пульсации зашевелилась повязка у меня на лице.

– Нет, нет. – Макинтайр накрыл мою ладонь своей. – Я решил, что разумнее дождаться, когда ситуация изменится в лучшую или в худшую сторону.

– Спасибо, Чарльз, – проговорил я, расслабляясь. Впрочем, мысли работали по-прежнему сумбурно, мимолетно сосредоточиваясь то на одном, то на другом, как получается, когда среди ночи балансируешь на краю сна. Упорядочить их я не мог. Я спросил Чарльза, что случится дальше.

– Я не пророк, – ответил он, – но, по-моему, близится время ужина.

Я застонал, и улыбка Макинтайра стала искреннее.

– Я вернусь к работе? – спросил я. – Или домой вернуться?

– Ну, Компания почти наверняка освободит тебя от контракта, чтобы не потерять больше денег в такой страшной ситуации, как твоя. Я в подобных делах несведущ, но не думаю, что ты захочешь вернуться в шахту в обозримое время или вообще когда-нибудь. Оставь эти заботы мне. У меня есть пара идей, которые стоит обдумать тщательнее. Тебе нужно отдыхать. Набирайся сил, а я вечером вернусь с крепким норвежцем или двумя, которые перенесут тебя ко мне в лачугу, где выздоравливать тебе будет комфортнее и спокойнее. – Макинтайр предостерегающе поднял палец. – Не вздумай возражать! Спор я не потерплю!

– Чарльз, я и не возражаю, – заверил я. – Но скажи мне еще одну вещь. Что с моими ранами? Почему я не могу повернуть голову и хорошо вижу только одним глазом?

Лицо Макинтайра, всегда такое живое и открытое, помрачнело. Он отвернулся.

– Об этом, дорогой Свен, мы поговорить успеем. Времени у нас предостаточно. Макинтайр поднялся и вышел.

11

Так я стал Свеном-Стокгольмцем, Шахтером-Уродом. Свеном-Безобразное-Лицо.

Ни зеркала, ни умывальной комнаты в лачуге Макинтайра не было. Для омовения и нечестных попыток привести себя в порядок Макинтайр использовал умывальную в бараках Компании. Так что неделю-другую, пока я пытался сфокусировать здоровый глаз и снова встать на ноги – сотрясение мозга было обширным и проходило плохо – мое познание о собственных ранах ограничивалось осторожными ответами Макинтайра и периодическим созерцанием искаженного отражения в ледяном стекле.

Я говорю «здоровый глаз», будто другой мой глаз – к счастью для меня, правый, потому что я левша – был просто «нездоровым» или даже «больным». Правого глаза у меня больше не было. Он исчез, сгинул под бессчетными тоннами льда, камня и угля. Нашли меня уже с бесследно исчезнувшим глазом, и ни один из спасателей не остановился, чтобы разгрести грязный снег помороженными пальцами в поисках бесполезного шарика, вероятно, пролежавшего замерзшим и раздавленным невероятных трое суток.

Вопиющее отсутствие одного глаза могло усугублять медленный отток жидкости от мозга и его длительный эффект. Я не мог уговорить левый глаз работать как следует. Ощущался он эдакой виноградиной, болтающейся в мармеладе, – когда я пробовал им подвигать, он не желал слушаться. Порой его вялость казалась намеренной – так собака, услышавшая не нравящуюся ей команду, исполняет ее с неохотной медлительностью.

Я старался не стонать – очень старался. Я остро чувствовал, что порой Макинтайр присутствует, порой – нет. Порой он красноречиво отсутствовал, наверное, чтобы не слишком докучать мне; порой становился бдительным и переживающим. Благородство и терпение он проявлял всегда. Вопреки всем моим усилиям, раны на лице, шее, плече и зияющая гноеточивая дыра, в которую превратилась правая глазница, дружно издавали какие-то загадочные звуки. Непрошенные, они доносились из самого моего нутра. Я их слышал, как сквозь пелену сна слышишь собственный голос: он будто озвучивает его, но несет ересь.

Неоднократно просил я Макинтайра рассказать о сходе лавины, и он неизменно соглашался. Неоднократно просил я его подробнее рассказать о моих ранах, и каждый раз он возвращал или лукавил. В ту пору я не упрекал его. Не упрекаю и сейчас. Как объяснить другу, что черты его лица полностью изменены? Что потрепанный атлас его человеческого обличья теперь нужно отправить с глаз долой, из сердца вон, потому что извергся вулкан и потоки магмы изменили топографию?

– Чарльз, пожалуйста, – умолял я, – расскажите, насколько все плохо!

– Ничего хорошего, – отвечал Макинтайр.

– В каком смысле?

– Свен, особой красотой ты не блистал никогда. Так что тебе, можно сказать, повезло.

– Мне не до шуток.

– Конечно, нет. Наверное, отсутствие чувства юмора и новообретенное уродство сделают тебя своим среди норвежцев.

Впрочем, тревога Макинтайра была ощутима и обоснована. Инфекция, попавшая в пустую глазницу, привела к лихорадке, грозившей выжечь из меня последние признаки жизни. Я выбирался из лачуги и барахтался в снегу, остужаясь, как бочонок пива. Хинин действовал медленно. Лагерный доктор убедил Макинтайра меньше курить во время моего выздоровления, раз уж ему хватило глупости забрать меня из лазарета. Доктор считал, что табачный дым действует раздражающе. Может, доктор был прав, но, думаю, он знал, так же определенно, как

и Макинтайр, что главное – укрепить во мне желание жить, и что столь тонкий маневр удастся, лишь если поместить меня в комфортную, дружественную обстановку.

Получилось так, что как следует оглядеть себя я смог лишь через месяц с лишним после аварии, когда наконец окреп достаточно и Макинтайр с доктором сочли, что мне при помощи их обоих дозволительно прогуляться через лагерь к баракам Компании, чтобы помыться. Когда я впервые взглянул в зеркало, оба отвернулись, словно вид того, как я смотрю на свое лицо, был хуже самого лица.

Наверное, к тому времени я был более-менее готов. Наверное, я опасался худшего, поэтому со своим новым лицом познакомиться было проще. Я не пытаюсь преуменьшить шок или кошмарность своей нынешней внешности. Но если вам доводилось видеть обожженного промышленным растворителем или проходить мимо попрошайки, угодившего во что-то, предназначенное для обработки ткани или кожи (что наверняка случалось с большинством жителей индустриального мира), то мое лицо не удивило бы вас больше, чем самого меня.

Я не считаю себя тщеславным. Я не ощутил глубокую личную утрату чего-то ценного. Сильнее всего меня уязвило то внимание – полное сочувствия или ужаса – со стороны всех, кого я встречал в лагере. Долгие взгляды. Утрата анонимности.

Немного погодя я принял решение стать отшельником.

12

Отшельником стать не так просто, как кажется. Разумеется, в Лонгйире это было недостижимо, как бы далеко от цивилизации он ни располагался, ведь у меня не было навыков, необходимых для того, чтобы отправиться на поиски своей сомнительной удачи. Я был растерян, я был на грани. Выздоровление в хижине у Макинтайра стало меня отуплять. Бремя безнадежности превращалось в нечто иное, в нечто мятежное. Едва уцелевший глаз прозрел достаточно, чтобы различать слова, я написал письмо Ольге.

Дорогая сестра!

Искренне надеюсь, это письмо застанет тебя в добром здравии. Также со всем смирением надеюсь, что ты не осудишь мой чудовищный почерк слишком строго. Гора обрушилась на голову твоему бедному брату – одного глаза я лишился, другой пасует от ужаса, делая мою писанину в лучшем случае неуверенной. Но нет, дорогая сестра, не беспокойся! За мной прекрасно ухаживает добрейший из геологов, а если возразишь ты, что геологи, особенно шотландские, не славятся добротой, прошу быть милосердной ко мне во времена моей слабости. Уверен, что в предыдущем послании я упоминал своего друга, мистера Чарльза Макинтайра, но, увы, в голове у меня такая каша, что я не помню. Как тому джентльмену удалось открыть мои уши для музыки! К счастью, уши к голове моей еще крепятся.

Свою карьеру шахтера считаю преждевременно оконченной. Как тебе известно, ни интеллектуальной, ни духовной отдачи от работы на шахте я не получил, хотя нам обоим хватало ума не надеяться на это. Впрочем, как и предсказывал Макинтайр, Компания сочла целесообразным освободить меня от контракта и отправить домой с небольшой пенсией – сумма, на деле, жалкая – дабы компенсировать мои мучения и так далее.

Домой я, возможно, не вернусь. Считаю меня убогим романтическим идиотом – измученным персонажем дурного драматического романа, место действия которого у моря или на болотах, но в таком состоянии я не могу показаться на глаза. Ни тебе, ни кому-то другому. На деле называть это «состоянием» – принципиальная ошибка, потому как это – превращение твоего брата из довольного симпатичного парня в уродца, скрывающегося в вонючих недрах драного циркового шатра... увы, лицо у меня теперь такое. Внутри я твой прежний, неунывающий Свен, а снаружи – подгоревший ростбиф с желтым жиром и обугленной корочкой.

Тебе известно, что чужого внимания я никогда не искал, но из-за моей новой жалкой ипостаси чужое внимание станет искать меня. Жалость... Пожалуй, это единственное, что хуже оголтелой неприязни.

У неутомимого, много путешествовавшего Макинтайра есть знакомые в Северной разведывательной компании, еще одном горнодобывающем предприятии, ищущем сомнительных богатств на этом жестоком архипелаге. Макинтайр считает, что может устроить меня стюардом в Кэмп-Мортон. Это не крупное поселение – в нем Лонгйир кажется Стокгольмом, зато шахтеры и начальство – британцы, а ты понимаешь, что это значит. Никаких больше проклятых норвежцев.

Это также означает, что твоему бедному Свену наконец придется выучить английский. Макинтайр остается в Лонгйире, по крайней мере, пока, но за этот период бездействия он дал мне много уроков своего омерзительного языка. Он утверждает, что это не его омерзительный язык, а грубое карканье саксонского угнетателя. Возможно, я перевоплощусь в «вот та-кого раз-весе-лого ста-ри-ка, хо-хо-хо».

Пишу тебе все это, чтобы предупредить: домой я пока не вернусь, а может, не вернусь вообще. Может, в белой пустоши для меня таки скрыто нечто особенное, и недавние свои несчастья я должен воспринимать, скорее, как шанс. Я сообщу тебе, добился ли успеха, исповедуя эту заумную философию.

Пожалуйста, поцелуй за меня Вилмера, а Хельге расскажи волшебную сказку о моих злоключениях на севере. Маленькая чертовка обхохочется!

Матери скажи, что пожелаешь, но подробности опусти. Вряд ли мы с ней еще свидимся. С любовью, твой брат, Одноглазый Свен

– Ты будешь ждать ответ, прежде чем отдаться на милость клятых англичан? – спросил Макинтайр.

– Нет, не буду, – ответил я. – Пожалуйста, передайте клятым англичанам, что их новый стюард прибудет в ближайшее время; что он безобразный на внешность и не умеет готовить.

Часть II

13

На мое счастье, классовая одержимость британцев подразумевает, что каждой важной персоне полагается стюард. Важными персонами себя считают многие британцы. В итоге, прибыв в Кэмп-Мортон в начале лета 1917 года, я стал кем-то вроде ученика другого стюарда с оптимистичным именем Сэмюэль Джибблит.

– Только подумай, мой молодой призрак гребаной оперы! – воскликнул он при нашей первой встрече с почти непонятым акцентом – кокни, как я потом выяснил, – совершенно не похожим на мелодичный говор Макинтайра. – На одну букву меньше, и фамилия гарантировано довела бы меня до виселицы³.

О лучшем учителе я и мечтать не мог. Джибблит, ныне седой служака пятидесяти трех лет от роду, большую часть жизни прослужил стюардом на флоте. Как следствие, он насмотрелся всевозможных жутких ран, вызванных упавшими блоками, дубовыми чурбаками, укусами акул, цингой, гангреной, сифилисом и человеческой воинственностью. Лицо мое у него особого отторжения не вызывало, хотя под настроение он о нем высказывался. Со службы Джибблита уволили, после того как он назвал одного из своих многочисленных начальников, в том конкретном случае помощника капитана, стоявшего на палубе аккурат над ним, красножопым бабуином. Терпение в число его достоинств не входило – в конце концов, Джибблит вырос на военном флоте – но это смягчалось тем фактом, что он мало ожидал от всех остальных.

Джибблит умел накрывать на стол, чистить серебро, разбирать багаж, сводить с сукна пятна крови и вина. Еще он не раз служил на рейсах, во время которых сильно заболел или умирал кок, поэтому мог приготовить умопомрачительное множество отвратительнейших английских блюд, причем имея в распоряжении скуднейший набор подозрительных продуктов – солонину, тушенку, муку, сгущенное молоко, зернистый шмат сала. Это умение принесло пользу и ему, и впоследствии мне. Нильсен, повар в Кэмп-Мортоне, был норвежцем, а это, пожалуй, единственная национальность, кухня которой отвратительнее английской. Его разнообразные эксперименты с рыбой, вымоченной в щелочи, вызывали смятение и испуг в сердцах жителей поселения. Однако правда и то, что шведы творят подобные гадости с сушеной треской, хотя среди моих знакомых так не делает никто, даже торговец рыбой Арвид. Поэтому, дабы обитатели Кэмп-Мортон не впадали в отчаяние, Джибблита часто просили сделать пудинг с изюмом или нечто подобное, мерзко трясущееся. Под его руководством я тоже научился готовить, хотя, должен добавить, эти сомнительные деликатесы мне нравились не слишком.

Я стал заниматься своими обязанностями, стараясь усваивать и перенимать полусознательные навыки и умения моего наставника в гастрономической алхимии, поддержании чистоты и внешних приличий, с четырех утра, когда разжигали костры для приготовления пищи и грели воду для бритья, примерно до половины девятого, когда споласкивали и вытирали рюмки для хереса и стаканы для бренди, и до блеска начищали пепельницы. Ел и спал я в брезентовых палатках с шахтерами, но общался исключительно с Сэмюэлем Джибблитом. Близкими наши отношения не были – я говорил мало, а он без остановки рассуждал вслух на любую угодную ему тему, чем мог спокойно заниматься с любым слушателем – но это удо-

³ Если убрать букву «л» из фамилии Джибблит (Gibblit), получается слово gibbet, в переводе означающее «виселица».

влетворяло потребность в товариществе, которую я открыл в себе лишь недавно, и оберегало меня, хотя бы немного, от смертоносной рефлексии.

Жесткий график не позволял мне и посмотреть Шпицберген. Но ничего нового в этом не было. Я толком не видел архипелаг и когда работал в Лонгйире, а шестнадцатичасовой рейс морем до Кэмп-Мортон, расположенного у входа в Ван-Мийен-фьорд, ближайшего к южной части Ис-фьорда, прошел в тумане. В самом настоящем тумане, ведь мой единственный, еще не сфокусировавшийся и шурящийся на арктическое солнце глаз потек от жгучего холода, слезы застыли на ресницах, и я почти ничего не видел.

Так пролетело мое первое лето под сенью горы Колфьеллет, и дни снова пошли на убыль. Свою апатию, недостаточную ясность ума и критичность мышления могу объяснить лишь шоком. Я не справлялся с травмой и жестокой реальностью своей новой жизни. Еще я так радовался тому, что больше не работаю в шахте, что с удовольствием согласился бы и на работу куда отвратительнее, если бы мне ее поручили. На время я стал бездумным работником, которых так презирал Макинтайр. За те месяцы я не писал ни ему, ни Ольге и морщился, представляя, как скривилась бы от досады Хельга, если бы услышала об этой прозаической главе моих приключений в Арктике.

Однажды я испытал самый настоящий шок. Мы с Джибблитом стояли у большого деревянного стола в Микельсенхате, самой большой постройке Кэмп-Мортон и де-факто зала собраний/кухни/столовой. Джибблит резал лук, а я прикладывал снег к слезящемуся глазу.

– Парень, не стать тебе стюардом, если ты даже лук порезать не можешь.

– Мой глаз чувствительный, – сказал я на ломаном английском.

– Да, да, я впрямь считаю, что ты чувствительный, юродивый мой бедняга. Вечное бремя на плечах старого Сэмюэля Джибблита, но он не против, нет ведь? Нет, он смирился с такой участью.

Меня всегда смущало, когда Джибблит говорил о себе в третьем лице.

– Что? – спросил я, убрал снег от глаза и уставился на него.

– Именно то, что я говорил, – ответил Джибблит. – Думаю, ты рассчитываешь на должность повара в Лонгйире. Содрогаюсь, вот прямо содрогаюсь при мысли о том, каким поваром ты станешь, но поступлю я правильно – отправлю тебя обратно с рекомендательным письмом, потому что пару человечков в Лонгйире знаю. Если, конечно, ты не хочешь домой в Швецию. Может, у тебя там женка, хотя, бог свидетель, не представляю, как завопит она, увидев ночью, как такой красавчик пробирается к ней в спальню. – Джибблит хрипло хохотнул.

– Уйти? – растерялся я. – Зачем уйти?

– «Зачем уйти», куда, сынок?

– Я уволен?

– Что?! Нет, ты не уволен, дурачина чертов! Ты что, не понимаешь?.. После нецелых шести месяцев?.. – Казалось, Джибблит лопнет от раздражения, но он сделал глубокий вдох и взглянул на меня с жалостью. Взяв себя в руки, он заговорил снова, очень медленно, словно обращаясь к умственно отсталому: – Мы. Все. Уезжаем. Отсюда. На зиму.

– Как все? – потрясенно переспросил я. – Даже шахтеры?

Джибблит закатил глаза, потом объяснил, порой останавливаясь и не меньше, чем я, размышляя о статистической невозможности моего выживания, что в темные месяцы года работы в Кэмп-Мортоне не ведутся. Слишком дорого. Слишком хлопотно обеспечивать доставку продовольствия для многочисленного персонала. Если Лонгйир, благодаря относительно активному порту, мог поддерживать рабочее состояние, то Кэмп-Мортон был захоластьем. Да, вскоре шахтеры уедут, так же, как комендант лагеря, стюарды и прочий персонал. Большинство отправится домой, чтобы, как выразился Джибблит, «урвать кусок семейной дисгармонии» или потратить заработанное. Весной работники вернутся, чтобы исполнить контрактные обязательства.

Только ведь лагерь не бросишь на растерзание ветров, снега и белых медведей. За бараками нужно следить, стволы шахт держать открытыми и смотреть, чтобы хищники не устроили в них спячку. Этим занимались охотники, целый класс людей, с которыми я еще не познакомился. Небольшая группа их явится сюда, а откуда, Джибблит не знал и особо не интересовался. В качестве оплаты за выполнение черной работы в условиях лютого холода, постоянной темноты и внешней изоляции, им предоставлялись жилье и доступ к богатым охотничьим угольям Компании. Всю выручку от продажи пушнины весной охотники оставляли себе. Компания не брала ничего.

14

Менее чем за две недели до отъезда шахтеров и прибытия охотников я встретился с комендантом лагеря, лейтенантом Мэтью Хэром, которого знал лишь как старого друга Макинтайра. Со дня прибытия в Кэмп-Мортон я с исключительным старанием избегал любых намеков на особое отношение и, как следствие, никогда не разговаривал с Хэром. По сути, никогда не общался с ним, за исключением редкого «Добрый день» с его стороны и «Да, сэр» с моей. Я постучался в дверь его кабинета в Клара-Вилле, второй по величине постройке лагеря площадью около девяноста квадратных метров.

– Войдите, – велел голос.

В воздухе клубился табачный дым. Меня всегда изумляло, что люди, живущие в неблагоприятных условиях, по сути вынужденные зимовать в загонах, как свиньи, загрязняют каждый дюйм своего жизненного пространства вредными газами. Как большинство мужчин, я люблю курить трубку, особенно после обильной трапезы, но не так, чтобы начисто лишиться себя кислорода.

– Вы Ормсон, да? – спросил Хэр, буквально на миг оторвавшись от бумаг, которые разбирал.

– Да, сэр, – ответил я.

– Как вам жизнь в нашей скромной деревеньке? Не согласитесь снова почтить нас своим присутствием, когда придет весна?

Доброта коменданта смутила и удивила меня, отчасти потому, что я не знал, объясняется ли такое великодушие искренностью или стремлением в очередной раз угодить Макинтайру.

Я замялся, болезненно осознавая убогость своего английского.

– Сэр, я подумал, что, может...

– Нет, конечно, нет. Это совершенно ясно, – продолжал Хэр. Он поднял голову и словно в первый раз взгляделся в меня сквозь табачную дымку. – У молодого человека, вроде вас, много планов, много вариантов и так далее.

Он что, тренировался в остроумии на мне? Комендант уж наверняка понимал, что неотложных дел, равно как и намек на перспективы, у меня нет в помине. Впрочем, если у него в голосе и был сарказм, я его не чувствовал.

– Сэр, вообще-то мне хотелось бы остаться, – проговорил я, тщательно подбирая слова.

– Остаться? – Слово получилось похожим на кашель.

– Да, именно остаться. В лагере.

– Вы о возвращении в апреле или в мае? Разумеется, Ормсон, в этом суть того, о чем я спрашивал. Я просто отмечу ваше имя... – Он сделал паузу, чтобы отодвинуть какие-то бумаги. – Вот здесь. А весной, если пожелаете, поговорим об официальном соглашении. Вы, похоже, неплохо у нас преуспели. Сэмюэль Джибблит способен вас выносить, или, вероятно, это вы выносите его, да поможет всем нам Господь! – Хэр приоткрыл рот и улыбнулся улыбкой закаленного в борьбе человека – подробную карту его бородатого лица изрезала сотня морщин, из-под усов мелькнули желтые зубы.

– Сэр... Спасибо вам, сэр, – проговорил я, отдавая себе отчет в том, что не улыбался со дня аварии. Я не знал, позволит ли мне улыбнуться рубцовая ткань, но обижать лейтенанта не желал. – Сэр, я хотел сказать, что хотел бы остаться здесь на зиму.

– На зиму? – Во взгляде Хэра появилось изумление. Видимо, он заново оценивал мои умственные способности. – Нет. То есть это невозможно. Неужели Макинтайр не объяснил вам? – осведомился он. – Или Джибблит? Ормсон, – продолжал он с нотками раздражения, – добрые христиане трудятся до середины октября, потом уходят со своего поста на долгие темные месяцы, оставляя лагерь диким, неотесанным язычникам севера. Звероловам-охотникам, если вы понимаете, о чем я. Жаль, что Макинтайр не подготовил вас...

– Мистер Хэр, сэр, позвольте мне вас перебить. До недавнего времени я, действительно, пребывал в удручающем неведении относительно режима работы лагеря, за что мне очень стыдно. Однако теперь, когда меня просветили, моим заветным желанием стало позволение перезимовать здесь, в Кэмп-Мортоне, с людоедами, или как еще вы изволили их назвать. Навыками зверолова я, увы, не обладаю, но ведь звероловам нужно есть, мыться, стирать и чинить одежду? Без ухода и заботы лагерь и сами звероловы быстро придут в весьма неряшливое состояние, так ведь? – Вообще-то мне кажется, что большинство моих слов прозвучали на шведском, но теперь они лились уверенно, и чистый поток понимания наконец проник в сумрак кабинета.

Хэр долго смотрел на меня в тишине. Потом его рот снова приоткрылся.

– Вы хотите их причесывать?

Из глубины его груди вырвался рокот, напоминающий тяжелый выдох больного острым бронхитом. Длился рокот дольше, чем мне показалось необходимым, и оборвался хрипом.

Я сидел, глядя себе на колени.

– Ормсон, вы должны меня извинить, – начал Хэр, взяв себя в руки. – Просто перед мысленным взором у меня нелепейший из образов.

Я промолчал.

– Дело в том, что каждой зимой здесь живет всего по три зверолова. А то и по два. Насколько я знаю, они никогда не моются и с удовольствием едят любое мясо, которое могут поймать и опалить на открытом огне. Стюард им не нужен, нет ни малейшего шанса, что за ваши услуги вам заплатят сами звероловы или Компания. Ормсон, вы меня понимаете?

– Понимаю, сэр. Но на самом деле мне хотелось бы научиться искусству зверолова, и за это я готов служить... бесплатным стюардом? Я не знаю подходящего слова.

– Подмастерьем хотите стать? – Скептицизм Хэра звучал уничижительно, но через пару секунд его взгляд смягчился, поза стала менее напряженной. – Давайте начистоту. Я сомневаюсь – искренне сомневаюсь, – что звероловы возжелают тратить время, чтобы обучить вас... как вы изволили выразиться? Своему искусству. Звероловство не приятное времяпрепровождение, а зима на Шпицбергене не отпуск в Бате. Звероловы – люди некультурные, и даже если согласятся на ваше присутствие здесь, то мигом ухватятся за шанс заставить вас работать. Держу пари, что на износ. В итоге вы станете их слугой. Будете готовить, будете убирать и поделывать с этим ничего не сможете. Не сможете сбежать по льду в Лонгйир или куда-то еще. И так всю зиму. – Хэр пронзил меня долгим, пристальным взглядом.

Я ответил тем же – взглянул на него левым глазом.

– Если вы впрямь хотите именно этого, я поспрашиваю.

С Тапио, финским звероловом-социалистом, я познакомился в ноябре 1917 года. Он приплыл на лодке за считанные дни до того, как британцы освободили Кэмп-Мортон. Полагаю, они с Хэром провели какую-то беседу или официальные процедуры, только я при этом не

присутствовал. Ни со мной, ни с кем-то другим Тапио не разговаривал. Он просто выгрузил свои пожитки и жестокие металлические приспособления, кусающие, ловящие, щелкающие и крепко держащие, и потихоньку улизнул.

Лейтенанта Хэра я перехватил, когда тот готовился сесть на корабль, отплывающий в Лонгйир.

– А-а, Ормсон! – воскликнул он. – Удачи вам! Может, весной свидимся.

– Зверолов согласился взять меня подмастерьем?

– Насколько я понял, да.

Я поблагодарил Хэра и спросил, не удалось ли им определить условия моего трудоустройства. Тот скептически взглянул на меня, криво усмехнулся и спустился по сходням.

Тапио я застал в Микельсенхате, переключившим содержимое кухонной подсобки и кладовой. Впервые я увидел его в мохнатой шапке, в брюках и куртке из меха и кожи, в заляпанных кожаных перчатках – полностью соответствующим образу кровожадного зверолова, который я для себя культивировал. Теперь передо мной был совершенно другой человек – чисто выбритый, коротко стриженный брюнет в шерстяном свитере и полукомбинезоне, которые явно поддерживались в чистоте. Лицо его было суровым, но не злым.

– Ты, должно быть, тот швед, – начал Тапио, напугав меня почти идеальным шведским. – Боже, парень, что с тобой сделали?!

Я не привык, чтобы о жалком состоянии моего лица говорили так прямолинейно. Так редко делают. Эту тему проще замалчивать.

– По правде, так случилось, скорее, по воле Божьей, а не одной из Его двуногих тварей. Лавина сошла.

– Да, я знаю, – невозмутимо проговорил Тапио. – Вопрос был риторический. Хэр предупредил, что твоя внешность может выбить из колеи, и велел готовиться к шоку. Ну, позволь сказать, что я видел кое-что хуже. Наверное, вопрос следовало задать так: «Что промышленность сделала с тобой, как и со столь многими безмолвными пролетариями?» Полагаю, компенсацию ты не получил?

– В какой-то мере получил. Меня освободили от контракта, позволили перебраться сюда и работать стюардом. Я надеялся стать подмастерьем у одного из таких достойных людей, как вы.

Слова прозвучали абсурдно даже для меня самого, и для Тапио, разумеется, тоже. Его глаза затуманились, лоб прорезали морщины.

– Освободили от контракта? – пробормотал он себе под нос. – Позволили работать? – Он трижды сжал и разжал кулаки.

Я испугался, что обидел его каким-то непоправимым образом.

– Простите, сэр! Я хотел сказать лишь то...

– Сэр?! Нет, нет! – Его лицо резко смягчилось, словно волна поднялась до высшей точки и опала. Тапио вытащил бутылку без этикетки и поставил на стол вместе с двумя стаканчиками. Наполнив каждый до краев, Тапио поднял свой и кивком велел мне сделать то же самое. – Давай начнем сначала. Хочешь научиться звероловству? Цель благородная, с учетом того, что бесчувственным к смерти стать невозможно. Любая жизнь – это жизнь, понимаешь? Звероловству как таковому и научить, и научиться нетрудно. Труднее сохранить свою человечность. Но я согласен тебя учить при условии, что больше не услышу гадкое слово «подмастерье». Отныне и навсегда мы равноправные партнеры. А теперь, – *kippis*⁴!

Я знаю, что финнов называют мрачными, угрюмыми алкоголиками. Тапио бывал и таким, а бывал и совершенно иным – задорным, язвительным, с твердыми принципами, но не упускающим возможности подурачиться. Сама непредсказуемость.

⁴ За ваше здоровье! (*фин.*)

Всего на семь лет старше меня – ему едва исполнилось сорок – Тапио рассказывал мне о политике и о ситуации в мире. О так называемой Великой войне, бушующей в Европе, я знал лишь понаслышке. Мне казалось, на Шпицбергене она особо не чувствуется. Макинтайр разок ее упоминал, но с явным намерением сменить тему. Британцы в Кэмп-Мортоне наверняка о ней думали – наверное, их братья, опутанные проводами, задыхающиеся от газа, сражались в окопах Франции, но со мной они не разговаривали, а Сэмюэль Джибблит пускаться в объяснения не желал.

В наши первые дни, дожидаясь прибытия двух других звероловов, Тапио взял за труд борьбу с моим невежеством. Усадив меня за работу под своим чутким руководством чистить или иным способом готовить ловушки и другие устройства – у каждого предмета имелся свой порядок обслуживания, определенный смазочный материал, угол заточки и так далее – он вещал на разные темы. Он глубоко ужаснулся, выяснив, что я не слышал о Февральской революции, не говоря уже об Октябрьской революции. Очевидно, Финляндия входила в состав России – я тщетно пытался скрыть тот факт, что для меня это новость (в Швеции Финляндию называли просто Финляндией, никаких глупостей вроде Великого княжества). Но самодержавие в России свергли, и в финском парламенте усилился раскол: некоторые, особенно социалисты, спешили объявить независимость от России-матушки, а несоциалисты считали, что Российское временное правительство не такой уж плохой союзник.

Тапио часто повторял, что социалисты бывают разные. Он тратил немало времени, объясняя, что один социалист может отличаться от другого миллионом разных способов, как, например, он отличался от большевика. Со временем тонкости я усвоил. Не так хорошо, как хотелось бы Тапио, но тем не менее. Он ценил мои усилия, а непониманием порой забавлялся.

Весточки из дома Тапио ловил жадно. Я силился уяснить, почему человек, столь озабоченный волнениями и политическими перипетиями на родине, уехал так далеко в момент, когда все могло измениться. Не раз и не два я спрашивал, почему он не вернется. Отвечал Тапио всегда по-разному.

– Потому что я зверолов, а не политик, – заявил он в первый раз. – Я не могу агитировать, не могу ходить на митинги. Мне нужно слышать, как воет ветер, как льдина отрывается от айсберга, как метет сильная метель.

К моему звероловческому образованию Тапио подходил в той же академической манере: не позволял мне сопровождать его на белую пустошь, пока я не усвою, хотя бы теоретически, основы постановки ловушек и приманок, проверки ловушек и, самое главное, тропления. Он был уверен, что белый медведь растерзает меня или, как минимум, сильно покалечит. Тапио отмечал, что при втором варианте намного хуже мне не будет, но опасался, что по невероятной глупости я навлеку такую же беду на него.

– А ты случайно... не алармист?

Тапио не ответил. От его взгляда повяли бы цветы.

– Но ведь крупные звери встречаются редко? – снова попробовал я.

– Ормсон, дурачина убогий! Звери всюду. Они превосходят нас числом. То, что ты до сих пор не видел белых медведей, говорит мне, что глаза подводили тебя и до того, как ты одного лишился.

Еще Тапио освободил меня от иллюзии того, что звероловство – занятие, которым можно забыться, нарастив рубцовую ткань на раны своей жизни.

– Ты в романтику ударился, – заявил он, когда я впервые озвучил свое желание.

– Не чувствую в себе романтики, – возразил я.

Потом Тапио разглагольствовал о том, как буржуазия создает фантастический и глубоко неверный образ пролетариата. По его словам, одним из ядовитых газов, испускаемым вонючим кишечником русского коммунизма, являлась продвигаемая государством идея того, что труд несет освобождение.

«Позволь мне внести полную ясность, – не раз и не два говорил Тапио, – труд не освобождает. Кому это знать, как не тебе, выросшему на фабрике?! Много свободных людей ты встречал на стокгольмских мельницах?»

Эти мини-допросы и тирады снова развязывали мне язык. Снова, как и с Макинтайром, я заговорил свободнее. Угрюмого безмолвия Тапио не выносил.

– Я имею в виду не любую работу, – возразил я. – Я имею в виду работу под северным сиянием и полуночным солнцем. Выслеживание диких зверей и испытание своей воли под бодрящим арктическим ветром. Разве это не успокаивает душу?

– Ага, ветер бодрящий! – фыркнул Тапио, а сам, похоже, задумался. – То, что ты описываешь, достижимо, но не здесь. – Он презрительно обвел руками окружающее пространство. – Не в лагере. Не в плену цивилизации. Здесь слишком много людей.

Я огляделся по сторонам. Мы были одни.

– Да, да, – закивал Тапио, читая мои мысли, – но по сути здесь людное место. Загрязненное людскими артефактами. Запятнанное людскими пятнами. Чтобы по-настоящему успокоить душу, нужны тишина и уединение. Пустота и время. Думаешь, будь ты моряком на одном из твоих драгоценных английских бригов, окруженным шумом и вонью других матросов, ты слился бы с айсбергом, с дрейфующей льдиной? Нет, не слился бы, – ответил Тапио, не дав мне времени ответить.

– А может, если бы они все погибли, а я остался? – предположил я. – Если бы я один выжил?

Тапио закатил глаза.

– Романтичный идиот! Может, и слился бы. Если бы бросил корабль со всеми его призраками. Один-одинешенек разбил бы лагерь на фьорде – уточняя: никак не меньше, чем на целом фьорде – если бы вслушивался в ветер до тех пор, пока прерывистый гул ледника не показался бы мерным, как метроном... Тогда – может быть.

Тапио показался мне таким далеким.

– Тапио, ты проходил через такое?

– Да, Ормсон, проходил. Спешу разочаровать: гарантированно освобождающего эффекта нет. Без необходимости возвращаться к людям, может, и был бы. Как только начинаешь мыслить, как морж, снова обрести человеческое мышление сложно.

16

Два других зверолова прибыли в Кэмп-Мортон через неделю после Тапио. Тот поприветствовал их с грубоватой фамильярностью. Очевидно все звероловы Шпицбергена знали друг друга в той или иной степени. Первым приехал норвежец по имени Сигурд, вторым – Калле Каалинпаа, еще один финн. Длинные бороды, заляпанная кровью одежда, нетвердые шаги – оба напоминали стереотипных звероловов куда больше, чем Тапио. Впрочем, и друг на друга они тоже не походили.

Сигурд был замкнутым, молчаливым, унылым. Спиртным от него несло, вне зависимости от того, пил он или нет. Определить было трудно. Он постоянно щурил слезящиеся глаза, по возможности ел один, ничем не делился. Уединение свое он хранил с той же ревностной бдительностью, словно лишь насекомым и легкому ветерку позволялось вмешиваться в его повседневные работы. Меня он не замечал в принципе.

Общительный Калле, как и Тапио, прекрасно говорил по-шведски, а его грудной смех слышался на расстоянии полкилометра. Улыбчивый, он обожал сальные шутки и очень обрадовался тому, что в лагере появился человек, которым он мог командовать. Вечером после знакомства он похлопал меня по спине, стиснул мне плечи своей огромной ручищей и сказал, что счастлив нашей встрече. Калле тотчас попробовал меня напоить, потом закидал вопросами

о моих увечьях. «Ран с войны я навидался, но такие жуткие, как у тебя, дружище, попадаются редко. Тебя будто медведь сперва прожевал, а потом высрал».

С годами люди перестали верно угадывать мой возраст. Я пришел к мнению, что мои увечья сделали определенные признаки неявными. Калле, например, был глубоко убежден, что я гораздо моложе своих лет; настолько, что вполне могу быть девственником. Он частенько предлагал по окончании сезона вместе отправиться в Лонгйир, где он представил бы меня паре-тройке перегруженных работой шлюх, о которых я даже не слышал. «Не знаю, чье лицо мне хочется увидеть больше – твое, когда ты наконец расстанешься с девственностью, или шлюхино, когда ты будешь ее пехать, глядя в глаза! – веселился Калле. – Пожалей бедняжку, дружище! Поверни ее задом!» После таких реплик Калле хохотал и хохотал.

Еще не привыкший к безжалостной Арктике, я понимал, сколь малы были бы мои шансы выжить без поддержания доброжелательности. Поэтому я старался укрыть свои неудобства под жесткой, но более-менее дружелюбной паутиной, хотя если лицо тебя не слушается, трудно определить, выражает ли оно вежливое бесстрашие должным образом.

А вот Тапио, наоборот, был искренним. Когда начинались такие разговоры, он мрачнел, падал духом и, как правило, выходил из комнаты. Но Калле относился к людям – таких мне встречалось несколько, – которых мало волнует, весело ли их собеседнику. Безразличный к реакции на свои слова, он просто следовал за своей бесстыжей музой.

17

В путь мы отправились при свете луны. Был конец ноября, и в тот день солнце вообще не появлялось. Я плелся за Тапио, стараясь контролировать затрудненное дыхание, чтобы не осрамиться. О цели вылазки я знал лишь то, что мы проверяем капканы, хотя примерно представлял, где мы находимся, потому что Тапио заставлял изучать карты до тех пор, пока я не выучил названия основных фьордов и гор в радиусе пятидесяти километров.

– Что будешь делать, если я погибну, пока мы на путике? – спросил он.

– Наверное, оплакивать тебя. Прочту стихотворение на твоих похоронах.

– Очень смешно. Ты либо доберешься до лагеря, либо погибнешь вместе со мной, и читать стихи над нашими телами будет некому.

Время от времени Тапио останавливался, горбясь, как старец. Я знал, что он ищет следы, но сам ничего не видел. Наконец после двух часов блужданий Тапио жестом подозвал меня к себе и показал на следы, круглые, как тарелки. Пот покрыл мне каждый дюйм кожи, даже участки, открытые холодному, неподвижному ночному воздуху. Я понимал, что передо мной, но озвучивать слово не хотел. Сердце заколотилось, как бешеное.

Тапио казался погруженным в думы и совершенно серьезным, но за ружьем не потянулся.

– Он рядом? – спросил я судорожным шепотом.

– Нет, давно ушел. – Тапио показал на следы прямо перед нами. – Видишь, как их снегом припорошило? Когти четко не просматриваются. Он ушел часа два назад. Максимум, три.

Два часа долгим сроком не казались. Я поворачивал голову то налево, то направо, полагая, что увижу внушительную фигуру белого медведя, вразвалочку идущего прочь или в нашу сторону. Я представлял, как он появляется из горного ущелья, сам как ходячий холм, белый на белом; или как выбирается из моря, гладкий, резко отряхивающийся, словно ставший явью сон.

– Почему ты не даешь мне ружье? – Этот вопрос я уже поднимал.

– Ты не готов, – невозмутимо ответил Тапио.

– Но ведь ты хотел бы, чтобы я выжил и после твоей страшной гибели!

– После моей страшной гибели ты сможешь взять мое ружье и использовать его, как заблагорассудится. Пока ты не готов. Чтобы правильно поставить капкан, нужно много трени-

роваться. Чтобы умело обращаться с ружьем, тренироваться надо еще больше. – Тапио сделал паузу, глядя на меня. – А еще ты ищешь себе неприятностей. Жаждешь опасностей. Даже если ты не чувствуешь в себе этот порыв, он есть, он манит тебя туда, куда соваться не следует.

Я попробовал возразить, но Тапио поднял руку.

– Нет, я тебя не критикую. Я и сам временами был так настроен – большей частью во времена невежества и наивности, но и в другие тоже. Так настроены многие. Зачем ты вообще приехал на Шпицберген?

Я не ответил. Уязвленный оценкой Тапио, я занялся самоуглублением, мрачно выискивая в себе признаки таинственного саморазрушительного порыва.

– Не бери в голову, Свен! Но ты должен понять, что в руках ищущего опасностей ружье превращается в средство достижения тех же сомнительных целей. Оно подтолкнет тебя к пропасти и, не дав очухаться, столкнет с края. А теперь пошли.

Еще целый час я ковылял за Тапио в плохо сидящих снегоступах – шлевки рюкзака начали впиваться и натирать так, что исчезли все остальные мысли, а желудок от голода сужился в бесформенный камешек. Раз, и я врезался в руку Тапио. Он вытянул ее, чтобы я его не опрокинул. Очевидно, мое жалкое полузабытье бросалось в глаза.

– Извини, – начал я, – что за позорный образчик...

Но Тапио поднес палец к губам и показал налево от себя.

– Что там? – спросил я хриплым шепотом. – Я ничего не вижу.

– Вон, на берегу.

– На берегу?!

– Дурачина! – Тапио умел чуть слышно рывкать. – Ты что, в упор не видишь берег, воду, Северный Ледовитый океан?

В багроватом сиянии я прищурился и постепенно разглядел вдали линию кряжей, крутых, зазубренных, вздымающихся, как чешуйчатый хребет гигантского морского чудовища. Я встречал такие рельефы и раньше, но в лунном свете зрелище было более впечатляющим и диковинным. Когда мой глаз, смаргивая безостановочно текущие слезы, сфокусировался на чем-то помимо моих ног, я подумал, что те кряжи возвышаются на неестественно плоской равнине. Разумеется, передо мной был океан, огромный залив с неподвижной, как чай, водой, а горы маячили на другом берегу. На переднем плане, чуть более чем в ста метрах от меня, тянулся каменистый берег.

Не вытяни Тапио руку, я ушел бы прямо в океан и не вернулся.

– Теперь видишь тех дьяволят?

На берегу суетились, чуть ли не танцевали три белые фигурки.

– Это медведи? – спросил я.

– Ага! – простонал Тапио. – Миниатюрные белые медвежатки с длинными пушистыми хвостами. Ты открыл новый вид, назвать его следует *Ursus sleposwedus*.

Я снова присмотрелся. Это, конечно, лисы. Точнее, полярные лисы, песцы. Находящиеся на абсолютно одинаковом расстоянии друг от друга, они все круто, судорожными движениями изгибали спины, будто поднимались на цыпочки или будто старались повыше поднять позвоночники. Так проще поживиться мертвой рыбой и морскими птицами?

Тапио шел дальше, двигаясь параллельно воде, но к песцам не приближался. Те нас игнорировали.

– Не застрелишь одного? – спросил я ему в спину, надеясь, что ответ будет отрицательный.

– Однажды они могут угодить в мой капкан, – ответил Тапио. – Их встрече при лунном свете я мешать не буду.

Тем вечером мы проверили много капканов – точнее, проверял Тапио, а я неуверенно топтался рядом, стараясь запоминать подробности, но в основном спал на ходу. Если честно,

«капкановую науку» я помню с тех пор, когда начал ставить их сам. В присутствии других я всегда обучаюсь тяжело. Зато собственные грубые ошибки производят неизгладимое впечатление.

Еще примерно через час блужданий вдоль берега мы остановились, и я спросил Тапио, добрались ли мы до конца путика. Тот ответил, что путик остался в километре за нами.

– Тогда чего ради мы идем дальше?! – Я пожалел о вопросе, едва он сорвался с губ, и мысленно повторил его, определяя степень дерзости.

Однако Тапио словно не почувствовал дерзость или вниманием не удостоил. Он ответил, что здесь хорошее место для привала и что он хочет показать мне нечто такое, что я еще не видел. Тапио повел меня к берегу. Мы попали на маленький фьорд в границах огромного Ван-Мийен-фьорда. Оценить расстояние на Шпицбергене невозможно даже лучшим глазам в лучшие времена, и я не в силах определить, как далеко от нас был другой берег – в паре сотен метров или в паре километров. Луна отражалась в воде с такой идеальной четкостью, что жутковатый, резкий свет словно исходил из двух мест и создавал две линии теней. На другом берегу залива маячил неумолимо громадный ледник.

Большинство людей, впервые встречающихся с ледниками или с айсбергами, их буйными отпрысками, отмечают их сверхъестественную синеву. Разумеется, цветовых переходов превеликое множество, но подавляющее большинство – оттенки синего, которые в естественных условиях не попадают. Я же впервые увидел ледник ночью, когда само небо, удивительно лазурное, прожигали две добела раскаленные сферы, одна в самом небе, другая на воде.

Ледник требовал внимания. Передо мной был не просто спящий великан, которого я ожидал встретить. Пока я разглядывал трещины, пересекающие его поверхность вертикально, как на ломте твердого сыра, огромный кусок откололся и упал в воду. Казалось, гигантский колун вонзился в кругляк сухого ясеня размером с дом. Секунду спустя я услышал звук – что-то вроде выстрела или гремящего рядом грома, но при этом непохожий. Звук пробрал меня до мозга костей.

– Айсберг откалывается! – воскликнул Тапио, положил мне руку на плечо и взглянул на меня с такой теплотой, что я едва его узнал. Он тотчас снял свой рюкзак и начал выкладывать наш ужин.

А я потерял дар речи. Теперь я увидел, что залив, как всплывшими трупами, кишит льдинами и обломками айсбергов. Медленно, почти неуловимо, волны, поднятые вновь отколовшимся айсбергом, дошли до «трупов», и они закачались.

Вопреки моим ожиданиям, наклонная поверхность самого ледника оказалась не сверкающей плитой, а, скорее, полого поднимающимся белыми ступеньками, как террасные поля. С каждой стороны от него защемленными шлаковыми отвалами собирался лед. Расселины были наверняка ужасными, я содрогнулся от перспективы заглянуть в пустоту любой из них. Сразу представился холодный выдох из глубины, где мир знает лишь стужу, разрушение, дробление, а время измеряется тысячелетиями.

Потом волна – к тому времени легкая рябь – докатилась до нашего берега, заваленного зазубренными обломками ледника, некоторые из них были размером с упряжную лошадь. Вода раскачивала их со звуком, напоминающим перезвон люстры на ветерке.

– Можем мы подойти ближе? – спросил я, вспомнив, как дышать.

Тапио поднял голову. Глубоко задумавшись, он жевал сушеное мясо методично, как корова.

– Нет, – ответил он, – если ледник больше, чем твой кулак, значит, ты уже слишком близко.

Мои обязанности как стюарда в лагере охотников оказались немногочисленными, но достаточно важными, чтобы Калле и Сигурд мирились с присутствием четвертого человека на их зимних угодьях. К счастью, их потребности были очень невелики, и в уходе за собой ни один из них моего вмешательства не хотел. Я убирался, я готовил одни и те же блюда – английские, скандинавские, порой откровенно допотопные – и жалоб почти никогда не слышал. Ели мы вместе в Микельсенхате, там же я жил вместе с Тапио. Калле облюбовал Клара-Виль, а Сигурд ночевал в убогой хижине на окраине лагеря. Мне запретили вторгаться на их личную территорию за исключением случаев, когда там требовалась уборка. Зима медленно шла своим чередом, и по мере того, как я набирался опыта, звероловческих обязанностей у меня прибавилось. Со временем Тапио поставил мне отдельные капканы, которые я проверял с абсурдным фанатичным пылом. Успеха я добивался редко – той зимой поймал двух лисиц. Я помню их обеих.

Удивляло малое число зверей, на которых мы охотились. Мы ставили капканы на лис и, хотя мне, по очевидным причинам, до следующего года это запрещалось, на медведей. Вот и все. На других шкурах – тюленьих, моржовых, карибу – были пулевые отверстия. Что касается китоловства, знакомые мне охотники никогда его не пробовали: не хватало сноровки, экипировки, уверенности на воде.

Почувствовав, что наконец чему-то научился – по мелочи, конечно, но хоть чему-то, – я написал Макинтайру и Ольге. К письму Макинтайру я приложил свои жалкие потуги на лирическую прозу – рассказ о том, как впервые увидел ледник, плюс немного ерунды о возвышенном. Множество слов я зачеркнул в порыве самобичевания.

Не имея шанса отправить письмо – фьорд замерз, сообщение с остальной частью Шпицбергена прервалось, – я мог лишь представить, как ответит Макинтайр – вежливо, даже воодушевляюще, но с рекомендацией найти своим литературным усилиям лучшее применение. Ольге я написал более подробный отчет о своих делах, здоровье, новых коллегах. К нему я приложил записочку персонально для Хельги – спрятал в отдельный конвертик, нацарапав предупреждение, что под страхом смерти никто другой его открывать не смеет – в отвратительных подробностях рассказав о странных звериных повадках и о звериных тушах, с которыми я к тому моменту сталкивался.

В июне у Тапио разболелся живот. «Так, небольшое несварение», – отмахивался Тапио, но, по-моему, он был при смерти. На второй день его болезни мы перестали есть консервированную треску и выбросили содержимое оставшихся банок на снег.

– Он спиртное не переваривает, только и всего, – заявил Калле.

Я возразил, что Тапио не пил.

Сигурд презрительно фыркнул – для него это был основной способ общения.

– Паразиты.

– Возможно, – согласился я. – Хотя меня на этом этапе больше всего беспокоит ботулизм.

Вдруг консервы не были закрыты должным образом?

– Что за ерунда? – спросил Калле.

– Плохие консервы, – пояснил Сигурд. – Паралич. Обосрется до смерти.

За сварливой замкнутостью Сигурда порой скрывались неожиданно глубокие знания. Об окружающих он думал очень мало, но в итоге развил какой-то жадный нигилизм, благодаря которому собирал и накапливал факты, которые укрепляли его мрачное мировоззрение, и хранил их до надобности.

Из уборной послышался слабый голос Тапио:

– Я вас слышу. Я вас слышу с расстояния в десятки метров, сквозь ветер и бурление у меня в кишках.

– Паралича нет, – подтвердил Сигурд. – Паразиты. Или кровоточащая язва.

Выбившись из-под строгого контроля Тапио, Калле решил сам руководить моим обучением. Он заставил меня пойти с ним на его путик.

– Если мистер Говносруй не против! – крикнул он в сторону уличной уборной, где уже почти четыре дня сидел Тапио.

Ответа не последовало.

Выбравшись на путик с Калле, я сперва окрылился свободой. Калле никогда не ругал меня, никогда не испепелял взглядом. Он разрешил мне взять ружье и даже выстрелить в тюленя и в птицу, ни в одного из которых я не попал. Я словно выбрался на прогулку с добрым дядюшкой. По пути Калле потчевал меня скабрёзными историями, громко хохотал над ними, и я, неожиданно для себя, тоже хохотал, вне зависимости от содержания историй.

Освободившись от негласных запретов Тапио, я понял, что рад возможности пообщаться с Калле или, наверное, хоть как-то расслабиться. А потом мы набрали на первый капкан Калле. В нем лежала растерзанная молодая лисица. Зад и глаза ей выклевали морские птицы. Тщетно пытаясь выкарабкаться из капкана, лисица в кровь расцарапала пасть и лапы. Шкура была разодрана, живот надутся, лапы навсегда замерли в странной позе.

Стараясь не выдать голосом отвращение, я спросил Калле, как давно он проверял свой путик.

– Ну, неделю-две назад, – беззаботно ответил Калле. – Парень, ловушек у меня море, я не могу проверять их ежедневно, как твой дружок-монах.

С Тапио мы ни единого разу не находили в ловушках уже мертвых зверьков. Обычно Тапио убивал их с расстояния. «Чтобы не паниковали, – объяснил он. – Надвигающуюся смерть не должен видеть никто». Если, судя по виду, зверь находился в ловушке больше десяти часов, Тапио горько упрекал себя, потом вносил тщательные изменения в маршрут и график обхода ловушек.

Калле себя не упрекал. Вытащив ненужный трупик из капкана, он просто пнул его в сторону. Потом он поставил тот же капкан неподалеку от места, где погибла лиса.

– Пошли отсюда, – проговорил Калле. – Мне уже есть хочется.

В тот день мы нашли двух живых лисиц, еще трех дохлых – более-менее приличная шкура оказалась лишь у одной – и северного оленя, попавшего в капкан на медведя. Голову оленю оторвал медведь. Снег истоптали и взбаламутили: медведь пытался вытащить оленя из капкана и уволочь в другое место. Очевидно, голова оторвалась от отчаянных попыток, или же медведь обезглавил оленя от досады. Дохлятина была частично съедена, но, похоже, задерживаться медведь не пожелал. Судя по всему, Калле, в отличие от Тапио, не тратил время на то, чтобы защитить ловушки от человеческого запаха.

Омерзение и страх вызвало у меня это зрелище. «Сейчас вырвет», – подумал я и спросил у Калле, не вернется ли медведь.

– Может, вернется, может, нет, – усмехнулся в ответ Калле. – Если вернется, мы будем готовы.

Других признаков того, что медведь близко, мы не увидели – следы вели прочь от нашего маршрута – и вернулись в Кэмп-Мортон после восьми или девяти часов на путике.

На следующий день Тапио снова встал на ноги. Сильно ослабевший, для работы он пока не годился, но попросил меня помочь ему починить сломавшиеся устройства. Он даже слушать не желал о том, чтобы мне снова пойти на путик с Калле.

– Должен признаться, я рад, что в наставниках у меня снова ты, – сказал я, когда Калле и Сигурд ушли. – Калле, он... – Мое недолгое восхищение этим человеком и его манерами

сошло на нет, однако я попытался подобрать слово, которое выражало бы мое отношение, но не звучало бы слишком отступнически. – Небрежный. Безалаберный.

Тапио перехватил мой взгляд. Глаза у него запали и покраснели.

– Да, Свен, он такой.

19

В апреле, через шесть месяцев после его прибытия, я отправился с Тапио в Лонгйир. «Путешествие будет опасным», – напоминал он мне множество раз, но апрель годился для передвижений по суше из-за обилия света и почти полного отсутствия тьмы – благодаря чему земля думала об оттаивании, не особо этим занимаясь. Еще, прождав, пока ночная температура будет стабильно выше минус двадцати градусов Цельсия на случай, если наш переход застопорится и сорвется, Тапио считал, что мы ждали достаточно долго.

Вести из дома не поступали с октября, и тревога Тапио нарастала. Последние письма его родных приводили то в радость, то в отчаяние. Социал-демократы, представленные в финском парламенте, признали легитимность Временного правительства России, но приняли проект о передаче себе верховной власти, ограничив господство России над Финляндией. В ответ Россия направила войска в финский парламент и распустила его; с тех пор Финляндию контролировало буржуазное меньшинство, не имеющее законодательной власти; после второго восстания большевики сместили Временное правительство и подчинили Россию себе. В последних письмах рассказывалось об очередном существенном изменении – буржуазные партии вдруг возжелали независимости, а социалисты хотели остаться с большевиками. Тапио чуть с ума не сошел, пытаясь выставить письма в хронологической последовательности.

– Ну сколько раз мне умолять сестер датировать письма?! – кричал он, дергая себя за волосы. Он буквально обезумел от желания узнать, что произошло за последние месяцы.

– Тапио, почему Временное правительство России испугалось финских социал-демократов? Разве сами они не были социалистами?

– Конечно, нет! – рывкнул Тапио, затем покачал головой. – Знаю, Свен, это сложно. Проверь, что твои лыжи хорошо смазаны, и давай выезжать. Я объясню все по дороге.

Маршрут Тапио, отработанный им за несколько путешествий в одиночку, протянется на тридцать пять – сорок километров по западной оконечности Земли Норденшёльда, вдоль самого побережья, чтобы не подниматься в горы и быть поближе к еде, на случай если у нас кончится провизия. Чтобы облегчить продвижение, большую часть пути мы пройдем по паковому льду. Когда доберемся до мыса Капп-Линне у южной оконечности Ис-фьорда, мы либо остановим рыбацкую лодку, если на фьорде остался необледеневший канал, или на лыжах двинемся дальше по южному берегу Ис-фьорда до Лонгйира. Из-за ледников и многочисленных фьордов поменьше этот этап, длиной еще около сорока километров, получится значительно сложнее первой половины нашего путешествия.

Тапио планировал, что мы останемся в Лонгйире на несколько недель, от силы – на месяц, что, с учетом трудностей путешествия, казалось мне до абсурдного мало, но Тапио, сама экономность, не верил в баланс риска и выгоды. Он говорил, что на Шпицбергене охотники гордятся усилиями – вот буквально усилиями, которые прикладывают для достижения каких-то банальных целей, например, чтобы доставить корзину булочек «соседу» во фьорд неподалеку.

Мои причины отправиться с ним были расплывчаты, но многочисленны – отправить письма Ольге, которых набралась целая стопка; вручить Макинтайру письма, адресованные ему, и аккуратно оценить его реакцию, когда он будет их читать; замахнуться на арктическую славу или хотя бы испытать свою сомнительную стойкость. Но, пожалуй, сильнее всего я хотел пойти из нежелания оставаться наедине с Калле и Сигурдом и потому, что Тапио позвал меня с собой.

При этом тревожился я сильно. Этот переход был пустяком по сравнению с отважными путешествиями, о которых я столько читал в юности – например, о том, как Нансен на лыжах пересек Гренландию. Но опытным лыжником я еще не был и не имел никакого опыта во многих других аспектах. В путь я отправился со смешанным чувством воодушевления и страха, решив показать себя достойным себе и своему бесстрашному полярному спутнику, поддерживая приличный темп и не жалуясь. Я собирался наблюдать за каждым движением Тапио и копировать в полную меру своих возможностей.

Разумеется, получилось иначе. На первом этапе нашего путешествия я мучился от адской боли. В первый же день начались ужасные судороги в ногах, не привычных к повторяющимся и весьма специфичным наклонам и рывкам при ходьбе на лыжах. Порой мне кричать хотелось! Позднее, на второй день, боль стихла, зато появились невероятно пугающие волдыри. Пальцы ног стерлись в мясо. Я подумал, что нарушился слой водоотталкивающего жира у меня на ботинках, а когда снял их, жидкость хлынула изнутри. Кровь и гной залили мне гетры, создавая дополнительное трение. Не успев опомниться, я начал стонать, а порой тоненько поскуливал, как пес, который просится домой, но знает, что лаять нельзя.

Единственный мой глаз слезился без остановки, отчего я видел еще хуже обычного. Я насквозь пропотел в шерстяных вещах, которые, отсырев, царапали мне кожу. Разгоряченный, я слишком рано снял меховую шапку, а на второе утро проснулся с болью, разламывающей хрящ левого уха. Тапио объявил, что это обморожение на ранней стадии, но не добавил ни слова, хотя я умолял заверить меня, что ампутация не понадобится.

Первые три дня Тапио вообще говорил очень мало, отвлекаясь от глубоких мыслей, которые его занимали, только чтобы сделать замечание об окружающей местности или предупредить о грозящей опасности. Я предполагал, что он отвлечет меня от моих горестей долгими разглагольствованиями о финской политике, и ждал их, но просчитался. О моей жалкой ничемности Тапио тоже никак не высказывался – не критиковал и не сочувствовал. Видимо, он считал ее недостойной упреков.

Прибрежный паковый лед воплощением надежности не назовешь. Мы двигались по нему по несколько часов подряд, уходили далеко в море, стараясь избегать складок и нагромождений там, где он соприкасался с берегом. Тем не менее то и дело попадались участки, где Тапио останавливался, прищурившись, смотрел по сторонам и твердил, что нам нужно вернуться на берег. Лед он называл множеством слов – как финских, так и на языке коренных народов Арктики, который выучил в предыдущие годы, – а переводить не удосуживался. Моему слезящемуся нетренированному глазу весь лед казался одинаковым. Я понимал, что в общем те слова означают «тонкий».

Маневрирование на суше означало, что нужно сменить обувь и нести лыжи в руках. В какой-то мере это было облегчением. Во время неописуемых страданий этого кошмара наяву мне страшно хотелось использовать ноги естественным, привычным мне способом. В остальном казалось, мы спустились на очередной уровень ада, ведь суша подразумевала каменистый берег, по которому трудно идти продолжительное время, и ледники, тянувшиеся к самому морю. Чтобы преодолеть последние, мы привязали друг к другу веревку и прикрепили шипы к обуви. Крутые подъемы и петли в обход бездонных расселин добавляли к нашему переходу бесчисленные километры.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.